ДОНСКОЕ

Повесть

Было еще темно, лишь в верхнем углу окна, где топорщилась с отор-  
ванной петлей тюлевая занавеска, проступало что-то неуютно-зябкое, пока еще вялое, готовое сгинуть обратно в ночь. И хотя кричали уже петухи, глуховато пока и несмело, час был такой ранний, что не имело ни малейшего смысла тревожиться о неизвестностях рождающегося дня, тем более что и знать наверняка было невозможно, день это или все еще ночь.

Подтянув к подбородку сброшенное в духоте ватное одеяло, Валька подумал было снова заснуть, ведь под утро часто снятся сладкие, как запах белого донника, сны. И сон, который он только что видел, еще имел власть над его неохотно разгоняющейся мыслью, и хотелось поэтому вернуться в только что отзвучавшее, ставшее уже воспоминанием иное, гораздо более захватывающее бытие, да просто провалиться в распростершуюся над самой головой бездну... Валька видел во сне лошадей, коренастых и низкорослых, они бежали, обгоняя друг друга, по берегу моря, отдавая ветру великолепие рыжих и белых грив, и море гнало на бурый, источенный непогодой камень холодные, всклокоченные пеной волны. Они казались, эти беспризорные лошади, совсем дикими, их бока охлестывало прибоем, а они бежали и бежали, словно где-то там, среди камней и снега, пряталось улизнувшее от времени лето. Наверняка им было известно, в чем его, лета, приметы, и не было никакого смысла беречь горячее дыханье обдуваемых ледяным ветром тел... «Откуда пришел я?..» – подумал вдруг Валька и тут же сдался собственной немощи: мысли стояли на месте, как старый чугунный утюг, пылящийся под кроватью десятый уже год. И Валька ощутил всем своим   
щуплым, нескладным, долговязым десятилетним телом смутную, не определяемую словами тоску, и сон мгновенно забрал его в свои невесомые объятия.

Он проснулся оттого, что собака прыгнула ему на живот: придавила теплым комом к постели, устроившись с удобствами и надолго. Валька пока не ворочается, не выбирается из плена, только шумно вздыхает под тяжестью, теребя левой рукой мохнатое собачье ухо. Другие, а это в основном взрослые, не принимают спаниеля всерьез, а сторожащему свинарник Брюсу не раз удавалось мимоходом обрызгать его, от клочковатого хвоста до вислых коричневых ушей, что было, ввиду небольших размеров спаниеля, не слишком большим для него унижением. «Вот сейчас встану...» – заставляет себя подумать Валька и слышит, как в комнату входит мать. Он всегда переживает этот миг с особой, непонятной ему самому радостью, да и не нужно ведь в десять лет все понимать, надо держать что-то в запасе, на будущее, чтобы однажды обнаружить, что плод наконец созрел. Правда, учительница в школе ничего на будущее не оставляет, ей надо прямо сейчас всё понимать, и Валька не рад поэтому ни серому кирпичному зданию с пахнущими туалетами коридорами, ни даже большой, с бутербродами и яблочным компотом, перемене. Должно быть, назло учительнице и полагается раз в году лето, и это настраивает Вальку на глубокую веру в справедливость мироустройства. Хорошо быть коровой, ласточкой или пчелой, быть заодно с перистыми, к дождю, облачками и оранжевым пеклом заката, да просто быть... Внезапно вскочив, спаниель предупредительно зарычал и, стоя у Вальки на животе, оскалил кривые, как согнутые гвозди, клыки: Валька был его безраздельной собственностью, так же как и все остальное в этой тесной, с видом на сарай, комнатушке.

– Да я ж на тебя как плюну, так и сдохнешь! – как обычно, отчитывает мать длинноухого сторожа, и Валька нехотя встает, нехотя тащится к умывальнику, и только доносящийся из кухни запах кофе и возвращает наконец его мысли в круг привычных, которые перестаешь даже замечать, вещей: домашний беспорядок, вонь из свинарника, треск про-  
ехавшего мимо дома мотоцикла. – Ишь хозяин мне нашелся!

Склонив набок ушастую голову, Беня некоторое время смотрит на решительную в движениях, крепко сложенную женщину, словно примеряясь к ее сомнениям в его собачьей сторожевой роли, и начинает осторожно, как бы выспрашивая, направо и налево тявкать, вроде того, что «убедительно прошу» и так далее, при этом тараща на Вальку круглые, черные, как переспелые вишни, глаза. Один только Валька его и понимает да еще, может, приходящая раз в год соседская Мошка, с которой у Бени двенадцать, не считая двух утопленных, щенков.

К кофе полагается всегда что-нибудь от бабушки: пирожки с капустой или печенкой, оладьи, а то и шоколадный кекс с курагой и изюмом. «Когда-нибудь, – часто думает за завтраком Валька, – я непременно к бабушке переселюсь, надоело мне тут...» Рассеянно уставясь на истертый узор клеенки, он плывет в своих мыслях далеко-далеко, дальше чего и места на земле не бывает, как будто там кто-то давно его заждался и очень по нему соскучился. Он втайне придумывает разные про себя истории, и хорошо, что об этом не знает учительница: тут он сам по себе, а это значит, ни с кем. Правда, порой он задумывается, не взять ли с собой бабушку, Беню, мать, но в конце концов выходит так, что одному быть все-таки лучше, и на этом Валькины грезы обрываются. «Откуда я, в самом деле, пришел?..» – снова думает он и вспоминает, как жил с матерью в деревянном садовом домике на шести с половиной сотках. Мать так решила, забрав его из прокуренной сталинки и оставив ни с чем пропахшего пивом и стойким дешевым одеколоном «отца», который, будучи и в самом деле Валькиным отцом, взял за их самовольный уход по минимуму: одну-единственную свадебную фотографию, на которой он тащит по понтонному через речку мостику мотающую обеими ногами Валькину маму. Эта фотография всегда приводит Вальку в недоумение: зачем было, если впереди маячил уже развод, затевать всю эту свадебную показуху. На шести с половиной сотках, купленных на собранные со всей семьи ваучеры, стоял покосившийся сортирчик, а рядом рос абрикос, по словам мамы, ровесник самого Вальки, и много других приятных вещей располагало к осмысленному во всех отношениях времяпровождению: накопать ранней весной топинамбуров, собрать в июне клубнику, выдрать в сентябре морковку. К тому же на участок переселился из города престарелый, с седеющей мордой, скотч, которого мама подобрала у себя на работе: собаку оставили «ждать» возле скорой помощи, и так проходили месяцы. Этот скотч первый и обнаружил на шести с половиной сотках присутствие хозяина: узнал в садовом электрике того, с кем запросто можно делить миску, матрас и свободное от посторонних пространство. Вальке этот электрик тоже понравился, и он с ходу предложил ему, без всяких обязательств возврата, свое сокровище: посаженного в банку сверчка. Если бы тогда электрик не принял этот подарок, ничего бы у него с мамой не получилось. Но он взял сверчка с той серьезностью, за которой не могло было уже быть никаких сомнений: это и есть отец.

Шесть с половиной соток оказались вскоре тесны для пары свиней, трех козочек, дюжины кур и еще дюжины уток, не говоря уже про скотча и трех приблудных, вечно беременных кошек. И Валька был вполне согласен с электриком-отцом, когда тот сообщил многоголовому семейству, что пора возвращаться... в деревню. От скорой помощи это было далековато, зато близко до речки, да и название деревни было приятным: Донское. Было ли это на самом деле возвращением или только бегством, Валька даже и теперь не знает: просто хотелось воздуха и простора. Странно ведь, что многим этого не хочется. Многие... тут Валька представляет себе новый аквариум-супермаркет, где ему купили к сентябрю белую рубашку с черным галстучком и черный, как у приличного менеджера, пиджачок... многие даже и не замечают вокруг себя никакого воздуха. Он видит, как люди считают деньги, напряженно, сосредоточенно, умело, и это является, скорее всего, их главным в жизни занятием, тогда как все остальное можно было бы проделать и во сне. Валька не представляет себе, что станет с ним самим, когда ему стукнет, к примеру, тридцать, да он и не слишком надеется дожить до такого почтенного возраста, видя себя самого максимум шестнадцатилетним. Зачем люди вообще живут? Корова Белка, к примеру, дает по восемнадцать литров молока в день и за свои пятнадцать коровьих лет принесла хозяйке шесть телочек и трех бычков. Корове есть чем в жизни заняться, хотя ей и не понять, почему Витьке, сыну хозяйки, нравится лежать часами без сознания поперек дороги, мордой в пыльную лебеду; потом, правда, сознание к нему обратно приходит, иначе он не сгреб бы вырученную за проданное молоко мелочь, а молоко он, кстати, не пьет. «Зараза какой, – говорит про него мать, – уж лучше бы женился...»

Как-то, проскочив на велосипеде мимо привалившегося к забору Витьки, Валька затормозил и осторожно огляделся: на траве валялась всамделишная голубенькая тысяча. Он никогда раньше не держал в руках таких больших денег и был почти уверен в том, что обожжет себе пальцы, стоит ему только коснуться перегнутой пополам бумажки. Но эта трусость тут же уступила неизвестно откуда взявшейся победоносной жадности: «Моё!» Валька тут же и схватил бы тысячу и погнал бы на велосипеде дальше, если бы не внезапно застигший его придирчивый, из-под опухших век, Витькин взгляд. «Бери, сволочь, – с явным усилием пробормотал Витька, будучи не в силах шевельнуть рукой или ногой, – бери, а то убью!» За забором нехотя тявкала от жары дворняжка, сонно мычала, в ожидании дневного пойла, корова, но Валька слышал только стук своего сердца, аварийно перегоняющего избыток стыда к похолодевшим босым ступням. «Я не хочу, не хочу...» – прикусив губу, слышал он где-то внутри, несясь на велосипеде к дому, и только за калиткой, с разбегу натолкнувшись на неповоротливого Брюса, понял, что, слава богу, пронесло. А ведь завтра надо ехать на велосипеде за молоком... как ему теперь встречаться с Витькой? Надо поскорее что-то сделать, что-то хорошее...

Едва проглотив, под подозрительным взглядом матери, несколько ложек овсянки, Валька шмыгает за дверь, споткнувшись на ходу о ведро, и, потирая колено, бежит на птичий двор. Стоит жаркий июльский полдень, и вся, какая есть в клетках и на воле птица, изнемогает, с широко раскрытыми клювами, от полной неопределенности своей судьбы: то ли дадут воды, то ли не дадут. Рядом надувной круглый бассейн, с перегретым месивом подсолнечной шелухи, незрелых яблок и подернутой ряской застоялой воды, но куры, хотя и взлетают порой на крышу дома, все же ни разу не рискнули искупаться, учитывая то, что в бассейн несколько раз прыгал Брюс. Мнение кур полностью разделяют гусиные и утиные семейства, расположившиеся в тени от смородинового куста, а также несколько перепелов, неутомимо отыскивающих лазейки между заржавелыми прутьями клетки. «Куры», – думает о них Валька, вкладывая в это обобщение что-то вроде затаенной жалости: нет им в жизни никакой свободы. Он часто думает, наваливая в оцинкованное корыто распаренную нелущеную гречку и просо, откуда оно, это слово «свобода», взялось, и сдается ему, что ниоткуда, поскольку нет у него никакой возможности произрасти, как все остальные слова, из сора и грязи. Зажмурившись, Валька пытается поймать это капризное, привередливое слово «свобода» за хвост, как ловят сбежавшую овцу, но всякий раз оказывается, что ни хвоста, ни перьев, ни даже клочка какой-нибудь одежонки свободе не полагается. Остается одно: самому стать ею, выпорхнув, как ласточка из-под черепицы, из своей, пока еще не очень твердой, черепушки. «Голова пусть остается, – примирительно думает Валька, – а сам я поеду к морю...» Гуси могли бы, если бы захотели, нагнать по осени свою серую перелетную родню, кричащую вразнобой над бурыми от дождей полями, но жира на груди и под хвостом накапливается слишком много: сколько не разбегайся, сколько не маши отяжелевшими крыльями, взлетишь, самое большее, на обсаженный мальвами забор. Потом придет зима, хозяйка наварит гусиных щей, набьет гусиной печенкой зашитые ниткой шеи. «Я бы на их месте все-таки улетел...» – сочувственно думает Валька, черпая из бассейна застоявшуюся воду эмалированным тазом. Поставив таз на землю, он едва успевает отойти за куст смородины: со всех сторон к воде рвутся, обгоняя друг друга, пуская в ход клювы и крылья, гуси и утки, и первыми брякаются в таз, выплеснув почти половину воды, два подросших, драчливых уже гусака. Места в тазу хватает как раз на двоих, и остальные, сразу угомонившись, вежливо ждут, когда первые накупаются, и время водной процедуры точно отмерено, после чего первых бесцеремонно выталкивают из таза следующие двое... и Валька только подливает им воды. В конце концов он просто выплескивает воду из ведра «на кого попадет», и все, за исключением двух сидящих в тазу, в панике разбегаются.

Сев на пень от старой яблони, Валька прикидывает, что до сентября еще вон сколько времени, что лету быть еще и быть, и что надо поэтому, пока самому ему не стукнуло одиннадцать, успеть побыть десятилетним... Валька уверен в том, что каждый год дается ему неспроста и помечен поэтому своей цифрой, иначе возникла бы неимоверная путаница, со свинской неразборчивостью пожирающая старость и детство: из всех интересов угнездился бы в голове только один, денежный. Валька заметил это, как только обзавелся, как и все нормальные люди, своим телефоном: он опускает себе в ухо монетки, простые рубли и юбилейные десятки, и в голове от этого раскручивается песня о будущем, настойчивая, приставучая, заунывная. Как будто ничего и не надо уже от жизни ждать, все тут, на заранее занятых местах, и язык только лениво приспосабливается к застревающему в ушах и гортани мусору: ваучеры, менеджеры, браузеры... Приставучие, липкие слова! Ими метят кто собаку, кто лошадь, и животным ничего другого не остается, как на эту похабень откликаться. Вот ведь и у спаниеля Бени маму зовут Сотовая связь, а папу – Минздрав предупреждает. У этих Сотки и Миньки очень строгий хозяин: дальше прихожей ни шагу, жрать только сухие собачьи «бублики». Бывает, Сотка подсматривает из-за двери хозяйский телевизор, вытянув тонкую, оплешивевшую от грубого ошейника шею, и тогда хозяин убирает миску с «бубликами». У хозяина, Борис Борисыча Бессмертного, полный в жизни порядок: квартира от союза писателей, дача в Донском, досрочная персональная пенсия плюс компенсация за какого-то дальнего погибшего родственника плюс регулярно поступающие гонорары от книг, плюс... короче, одни только плюсы. Не будь этих плюсов, он давно бы, как полагает Валька, сгнил в затянутом вонючей ряской болоте, куда он загоняет собак, чтобы те таскали из камышей сбитых выстрелами уток. Родившись, как назло, спаниелями, Сотка с Минькой многому в своей проклятой собачьей жизни научились, и Валька подозревает, что в этом состоит тайный план собачьего среди людей пребывания: испытать как можно больше от людей зла, чтобы выработать иммунитет. Кстати, откуда зло вообще берется? Учительница в школе делит мир надвое: сверху добро, внизу зло, и от этих «верха» и «низа» несет аж на расстоянии обыкновенным учительским враньем. Она-то сама вроде и ни при чем, учиха, вроде бы без нее зло с добром разбирается и никак разобраться не может. «Будь добр!» – кричит она в ухо ученику. А тот, *назло*, никак не добреет. И все потому, что с *ним* никто не считается, то есть его за *человека* и не считают: так, что-то вроде методического тренажера. Посаженный в клетку схемы, запертый не им самим придуманными правилами *одурачивания*, ученик обречен *верить* учителю, навсегда отказавшись от себя самого. Может, это и есть зло?

Пора уже кормить свиней, они нетерпеливо похрюкивают за загородкой, и Брюс, не открывая в дремоте глаз, то и дело отвечает им предупредительно урчащим басом. Едят они жадно и много, и всегда одну и ту же дрянь, наполовину комбикорм, наполовину помои, отчего их собственное мясо становится невкусным и жестким. Но семейная экономика, состоящая из зарплаты медсестры, электрика и наполовину растаявшего уже «материнского капитала», ни о какой другой свинине знать не желает, и свиньи поэтому могут сколько угодно мочиться в корыто с комбикормом, тем более что в свинарнике всегда стоит кромешная тьма. Бывает, на этих неаппетитных харчах вырастает настоящее чудовище: трехметровое, пятисоткилограммовое, кусачее. Даже Брюс, помесь кавказца со среднерусской овчаркой, будучи самым крупным в деревне кобелем, не рискует ворчать на хряка, и только когда того наконец кастрируют и Брюсу это становится известно первому, он победоносно, будто сам оторвал хряку яйца, задирает заднюю лапу на пороге свинарника.

Кастрировать борова зовут обычно Борис Борисыча: будучи страстным охотником, он проделывает операцию бесстрашно и ловко, а главное, с искренней радостью, если не сказать с любовью. Его же и зовут потом этого борова пристрелить. И когда грохает выстрел, до смерти пугая кур и прорезая свиные мозги последней догадкой о смысле короткой и сытой жизни, Брюс панически взвывает и, прыгнув на крышу конуры, ищет спасения на Луне, где теснятся в стае его шакальи и волчьи предки. И это несмотря на то, что ему достаются сваренные вместе с пшенкой свиные кишки, желудок и печенка, часть которых Брюс тут же зарывает возле сарая на случай голодной зимы. Алкаши уже не раз бросали ему отраву, позарившись на визжащих в свинарнике поросят, но Брюс даже не смотрит на колбасу, даже не нюхает жареную куриную ножку. Другое дело, когда во двор заглядывает Витькина мать, Евдокия Андреевна, привозя на велосипеде молоко: от нее пахнет сметаной и творогом, и ей не жалко налить кобелю полную миску.

Она прикатила и на этот раз с висящими по обе стороны руля трехлитровыми банками и кастрюлей творога на багажнике, немолодая, но все еще проворная, и прямо от калитки сообщает новость:

– Борька-то, слыхали, едет в Америку!

Эту новость мгновенно разносят по курятнику пестренькие несушки, подхватывают на ура молодые петушки, и старая жирная утка, крякнув на гогочущих гусей, заключает о скорой перемене погоды... один только Брюс пока молчит, разомлев на самом солнцепеке.

Борис Борисыч Бессмертный никакой тут, в Донском, не деревенщина: у него *хватает* *ума*. Дачу он купил почти задарма у местного алкаша, когда тому было уже все равно, быть или не быть, и ничего себе хатка, вместительная, с гаражом, сарайчиком и бревенчатой банькой. Здесь он пишет, посматривая в окно через прокуренные занавески, свои поэмы, и учительница литературы выбрала уже пару его стишков для заучивания наизусть, и уже ставит за это двойки: «Ворона на заборе, мужик на косогоре...» Стишки хорошо ложатся на матерные частушки, и их поэтому учить приятно. Последнее время, правда, Борисыч занят мемуарами: жизнь пошла на шестой десяток, пора закруглить острые углы, а тупые, наоборот, заострить. Он пишет... да, о чем это он пишет? Пишет, например, о смысле истории, употребляя крепкие, как сам он говорит, евангелические выражения. С этой евангелической точки зрения он выносит врагам смертные приговоры, жарит их в кипящем масле, подвешивает вверх тормашками на березе, но главное – всегда остается бдительным. В нагрудном кармане у него доллары, на шее – крест, что в целом отвечает духу времении нисколько не противоречит будущему, состоящему из нефти и ладана, ладана и нефти... Будущее! Это не просто ловушка для простаков, это – боевая готовность к нескончаемому самоограблению. Главное при этом – верить. Верить в то, что вовсе не обязательно что-то по существу дела *знать*. Вон чего уже понатворили вслепую, не зная ни шиша! И чего еще понатворят! Поэт пьет вместе со всеми, делаясь от этого народным, и народ долго потом помнит: этот, проведя ночь со спиртным, выбросился наутро из окна. А то и просто объелся мухоморов, согласно новейшему *культу.* От культа несет нестиранными носками и сивушной отрыжкой, но ничего не поделаешь: талант. И если талант этот изначально свинский, почему же не воспеть свинство как примету интеллигентности?

Хорошо, что по соседству живет электрик, иначе Борисычу пришлось бы довольствоваться давно уже надоевшим ему и давно уже выдохшимся домашним своим врагом: занудной, как песнь о всечеловеческой любви, женой. Он мается с нею уже тридцатый год и все никак не убедит эту общипанную со всех боков метлу в том, что мнение ее в сравнении с его, поэта, мнением ничего не значит. Она ходит на работу в банк, приносит премии, снимает густую пену со срочных вкладов, а в свободное время выискивает мало понятные другим инвективные выражения: сочинитель-крысолов, капустный могильщик, расхлебатель помоев и просто жопа. Откуда она все это берет, остается вот уже тридцать лет для Борисыча тайной, ходила бы себе просто в банк. Другое дело – электрик, тот в основном слушает. И хотя профессия у него скромная, а образования никакого, все же есть в нем какой-то ум... не идущий, конечно, ни в какое сравнение с интеллигентностью Бориса Бессмертного. А судит-то, бывает, как! Будто это он, а не член союза писателей, начитался всяких книг и журналов, да еще в придачу урвал что-то у самых трудных философов, с которыми лучше вообще и не знаться! И если бы так, начитался, а то ведь все *от себя*, от простых крестьянских соображений, от которых несет прелой соломой и навозом. Бывает, электрик сболтнет невзначай такое... ну прямо такое... и надо поскорее это записать, чтобы потом вставить в строку. И хотя строка делается от этого перекошенной набок и никак не желает рифмоваться с соседней, Борисыч упорно над нею работает, строгает ее и пилит и посыпает стружкой, пока наконец не выходит что-то вполне нормальное... да, нормальное! И уж тогда можно презрительно на сказанное электриком плюнуть.

Но вдохновение, то самое, поэтическое! То, ради чего рвутся у человека жилы и вздымается дыбом кровь, откупориваются старые раны и хрустят кости. Оно, святое вдохновение поэта, любит спиртную похоть и задранные, под шубами, подолы, любит к тому же суровый мужской разговор о деньгах, и хотя само оно не имеет пола, кричит в основном о любви: «Любви-и-и-и... любвии-и-и-и...» Бывает, идешь спозаранку на охоту: заросшее камышами болото, плоскодонка, голодные с утра собаки, ружье. В крови огонь от принятой к завтраку водки, в мыслях... ах, что же такое теперь в мыслях... да, гордость предпринятым с утра делом. И речь, конечно, не об утках, всегда воняющих тиной, но о выстреле, властно отбирающем у жизни ее претензии на абсолют: абсолютна одна только смерть, и ты втайне ее-то, смерть, и любишь! Любишь больше жизни. Смертельная ненависть, смертельная влюбленность, а также смертельная скука – вот три опоры, три целых пока еще ноги, на которых опасно покачивается стул поэта. Четвертую ногу то ли давно уже отпилили, то ли она еще не отросла... да это же *самопознание*! Как это, между нами, поэтами, говоря, непоэтично!   
Писать надо не иначе, как *кровью*, надо кричать, срывая голос, а главное, почаще *божиться*. Надо убеждать верующих в том, что не зря они так верят: впереди только смерть.

Поставив на порог трехлитровую банку с молоком, Евдокия Андреевна проходит, разувшись, на кухню, садится на обитый клеенкой стул, считает затертые рубли. Валька сбегал уже за дом, нарвал на пустыре лебеды, положил мешок на багажник велосипеда, на что женщина только вздыхает и, не глядя ни на кого, тихо замечает:

– Резать Белочку будем, – и тут же деловито добавляет: – только бы Борисыча обратно из Америки дождаться, он-то разом пристрелит...

– Да, может, он туда и не поедет, – предполагает Валькина мать, озадаченная тем, что скоро уже кастрировать хряка, а будет некому, – одна болтовня только, кому он там нужен.

– Никому, – соглашается Евдокия Андреевна.

Один только Валька и зажигается этой сумасбродной мыслью: поехать в Америку своим ходом, сначала вниз по течению Дона, потом через Азовское в Черное море, потом в Турцию и дальше, через Средиземное море, в Испанию, а потом уж рвануть напрямик через Атлантику, и все это на одолженной у Борисыча плоскодонке. Решив пока об этом молчать, а то еще помешают, он осторожно спрашивает, нельзя ли Белочку пока не резать. Он видел не раз, с каким трудом она поднимается на ноги, опираясь на ревматические колени. В стадо ее больше не гоняют, но к быку в прошлом году она так даже побежала, словно чуя, что это в последний раз. И то, что она по-прежнему дает восемнадцать литров молока в день, таская огромное вымя на обтянутом желтоватой шкурой скелете, кажется Вальке истинным чудом природы, и он ничего так не желает, как раздобыть для Белочки лошадиный бальзам, который, как сказали по телевизору, ставит хромых иноходцев на ноги. Бальзам этот продается в литровых бутылках и стоит жуть сколько... около тысячи, а у Вальки в копилке пока только сто пятьдесят рублей.

– Ничем ей уже не помочь, – вздыхает Евдокия Андреевна, – придется резать.

Валька знает о смерти лишь понаслышке, и когда кого-то в деревне хоронят, не любопытствует, как другие, не ходит в дом, где горят возле икон тонкие свечи и пахнет сосновыми досками; он идет обычно к Дону, сидит один на берегу и смотрит на воду, а если зима, тащится на лыжах по полю сам не зная, куда. Смерть не кажется ему чем-то страшным, и он догадывается, что есть между нею и всяким рождением что-то вроде договора: не родишься, значит, и не умрешь, а если не умрешь, так потом и не родишься. Что с людьми, что с коровами... хотя людям приходится, по мнению Вальки, гораздо труднее: каждый отвечает за себя, но не мычит вместе с остальными в стаде. «Есть, – думает Валька, – одна Большая Корова, состоящая из всех, какие есть в мире, коров, и если Белочку зарежут, душа ее, как была, так и будет, душой Большой Коровы, и все пойдет по-прежнему: телята, молоко, ревматические коленки...» Учительница сказала как-то, что тупицы непременно родятся когда-нибудь ослами, а лентяи – свиньями, но Валька твердо уверен в том, что никем, кроме как человеком, ему не быть. «Ишь какой гордый», – сказала тогда про него учительница, как будто даже обидевшись. Да, люди, как правило, обижаются, если видят, что кто-то может без их мнения и подсказки обойтись. Люди смотрят по сторонам, рыщут, принюхиваются, выпытывают и высчитывают, и стоит кому-то отвлечься и обнаружить, что сам-то он, оказывается... есть, все тут же набрасываются на него: как это понимать, что ты *есть*? Когда Валька перешел из городской школы во второй деревенский класс, его тут же, на первой же перемене, проверили на вшивость: растащили, кто куда, все его тетради, зашвырнули на шкаф портфель, сунули за шиворот живую лягушку. Молча, исподлобья наблюдая за каждым в отдельности, он собрал разбросанные тетради, посадил в портфель перепуганную лягушку, чтобы потом выпустить ее на луг, но тут кто-то шлепнул его по голове учебником, и Валька с размаху дал ему в нос, хотя раньше никого не бил, и два красных «паровозика», быстро побежавшие по воротничку чистой рубашки, убедили явившуюся на шум учительницу в том, что Валька если и не «отъявленный», то что-то вроде того. «Безотцовый», – раз и навсегда заключила она.

Выкатив на велосипеде за околицу, где пасутся среди синеголовников и шалфея бодливые бородатые козы, Валька гонит по тропинке прямо к реке, мимо разбросанных по лугу диких яблонь, мимо подсолнухового поля с уже наклоняющимися желтыми головками, и только увидев впереди стадо, тормозит и слезает, ведя велосипед навстречу безразлично глазеющим на него коровам. Толстая загорелая баба в белом фартуке доит одну из них, ловко дергая сильными, хваткими пальцами набухшие соски, и молоко брызжет струями в стоящий на земле подойник, а рядом стоит в очереди другая корова, а за ней еще... Громко, чтобы услышал и пастух, поздоровавшись, Валька съезжает на велосипеде с заросшего общипанной лебедой откоса и тормозит у самой воды, еще взмутненной недавним водопоем. Коровы заходят тут в воду по колено и пьют, пьют... а потом протяжно мычат, зовя хозяек, а то и просто от избытка своих коровьих чувств. И когда приставленный к ним пастух, высокий, молчаливый дед с самокруткой, гаркает на них матом, коровы не спешат выходить на берег, зная, что дед гаркнет еще много раз, прежде чем пора будет подниматься по откосу на луг. Бросив на взрыхленный песок майку, штаны и сандали, Валька с разбегу окунается, ныряет на мелководье, ткнувшись лбом в песок, машет над водой тонкими, неокрепшими еще руками, напрасно пересиливая течение. В этом месте Дон широкий и на вид спокойный, если не сказать, «тихий», и только на самой середине, куда порой залетает сорванный ветром тополиный лист, заметно, как бурлит и стремительно бежит вода, порой всплескиваемая играющей на солнце рыбой. «Туда бы, – думает Валька, – заплыть и нестись, как на быстроходной лодке, на юг...» Он снова ныряет, и голова натыкается на что-то твердо стоящее на месте, и чьи-то руки хватают его за ягодицы, стаскивают растянувшиеся в воде трусы. На этом коровьем пляже редко кто купается, да и место бывает почти всегда занято разлегшимися на траве и на песке коровами. И Валька думает, что это, должно быть, пастух, крепкий еще старик, полез следом за ним в воду, чтобы потом еще яростнее материть никуда не спешащих коров. Обернувшись через плечо, он видит, однако, сына молочницы, Витьку, который, все еще держа его за трусы, самоуверенно и нахально ухмыляется.

– Будешь меня любить, – дыша на Вальку самогоном, шепелявит он, громко икнув, – как девочка?

– Но я не девочка, – еще не понимая, в чем дело, огрызается Валька, замолотив по воде руками. Но Витька крепко держит его за оттянутый край трусов.

– А если дам тысячу? Вон там, в кустах, идем...

Глянув на берег, нет ли поблизости пастуха, Валька рванулся в воде, отпихивая ногой налетчика, и, чудо!.. у того остаются в руке только стащенные трусы. Теперь остается лишь плыть, хоть как-нибудь, хоть по-собачьи, плыть на середину реки.

Течение тут же подхватывает его и несет, как щепку, в своих играющих друг с другом водоворотах. Только наполненность и без того легкого тела воздухом и держит Вальку на поверхности, и вся его воля расходуется теперь на то, чтобы не слишком разевать при вздохе рот, и он переворачивается с боку на бок, вовсю работая под водой ногами. Его видит с берега рыбак, но так и остается сидеть с удочкой, только провожает Вальку глазами, как будто прощаясь с ним, да так оно, скорее всего, и есть. Ноги сводит уже судорогой, в рот все чаще и чаще захлестывает вода... Внезапно над самой головой Вальки раздается тонкий девчачий визг, и его едва не топит мощный толчок в плечо и в бок, и, ни на что уже больше не надеясь, он задирает, как может, голову и видит рядом с собой рыжую лошадиную морду.

– Хватайся, твою-то, зараза, мать, – вопит, сидя верхом, девчонка, – а то утопнешь совсем!

Валька вцепляется, сколько еще остается сил, в ремень уздечки, повисает, как ком водорослей, на поводьях, и лошадь, негодующе фыркая, тащит его за собой к берегу. Уффф!

Дрожа от холода, с посиневшими ногтями и все еще сведенными судорогой ступнями, Валька тупо смотрит на вытоптанную коровами кашку, и девчонка, пристально его разглядывая, не стесняясь, хихикает: без трусов! В конце концов, видя безнадежность его слабых попыток согреться, она швыряет в него махровым полотенцем.

Она на три года старше, эта Наташка, и в прошлом году на школьных переменах Валька не замечал у нее таких толстых, доходящих почти до талии кос. Ее мокрые волосы отливают на солнце таким же рыжим, как и у лошади, глянцем, и Валька думает, понемногу согреваясь под махровым полотенцем, что лошадиные грива и хвост уступили бы распущенным по плечам косам, и эта вернувшаяся к нему наблюдательность вмиг согревает его. «Пожалуй, я женюсь на Наташке», – внезапно решает он и деловито спрашивает:

– Это от речной, что ли, воды у тебя такие густые патлы?

Наташка как будто только того и ждала и принимается длинно рассказывать, как ходила с родителями в конский магазин, а там... чего только нет! Тогда, год назад, ей даже и не мечталось о таких косах, с ее-то жиденькими волосенками, но то, что делается для лошадей, – бальзамы, шампуни и кремы – делается, не как для людей, из дерьма, но только из всего самого лучшего, ведь лощадь не терпит, в отличие от человека, подделок, и Наташка выпросила себе *шампунь для гривы*.

– В следующий раз, – одобрительно вставляет Валька, – купи мне лошадиный бальзам, от ревматизма...

– Тебе? – изумленно уставясь на него зелеными, как тина, глазами, – пищит, хихикнув, Наташка. Таким бальзамом она натирает своей лошади колени на задних ногах, и ей очень нравится запах сена и душицы, да и лошадь совсем не против.

– Белочке, – снова задрожав от озноба, поясняет Валька, – ее зарежут, если она не будет вставать, как все коровы, на ноги, хотя и дает каждый день по восемнадцать литров молока...

– Это неправильно, – решительно перебивает его Наташка, – требовать от коровы так много, она же не рекордсменка какая-нибудь, а тем более не молочная машина, оттого и коленки у нее больные, из них уходит в молоко... – тут Наташка задумывается, – …как его, кальций, вот!

Она на три класса старше, и Валька поэтому с ней не спорит. Ему охота теперь, сидя на траве под махровым наташкиным полотенцем, загадать какое-нибудь очень большое и важное желание, так, чтобы впереди, где пока одна сплошная неизвестность, звенел, указывая дорогу, медный солнечный колокольчик, какие вешают на шею коровам, овцам и козам. Но сколько он ни придумывает, все не то, все одни только мелкие, как рыбешка на мелководье, мыслишки, тут же испаряющиеся под пристальным взглядом... да что это, в самом деле, за взгляд? Как будто Валька смотрит внутрь самого себя, а там – такая неразбериха, такая путаница, что даже имени своего не обнаружишь. «Это потому, что мне всего только десять, – заключает не без сожаления Валька, – вот стукнет мне, к примеру, шестнадцать...» Эти шесть лет, которые ему только предстоит прожить, и еще неизвестно, как, маячат перед ним одной сплошной пеленой тумана, в котором лишь изредка мерцают, тут же угасая, неизвестные пока Вальке чувства: самоуверенность, ненависть, гнев... Среди них есть одно, от которого Валька хотел бы отделаться уже сейчас, немедленно, чувство самодовольной лени, зазывающее с утра на продавленный диван, к давно уже потерявшему всякое ра-  
зумение телевизору, к пропахшим кошачьей мочой и вчерашним супом стоптанным тапкам и заношенному байковому халату. Учительница в школе говорит, что быть русским и не быть при этом Обломовым совершенно невозможно и что не надо поэтому слишком суетиться и пить спозаранку крепкий кофе, все равно не дозовешься до хорошей жизни. Она не поясняет, хоть и учительница, почему хорошее всегда держится от людей на отдалении, неизменно следуя правилу «хорошо там, где нас нет». Стало быть, и Вальке ничего другого не остается, как быть подальше от самого себя?

Обвязавшись полотенцем, он бежит обратно на коровий пляж, где остался его велосипед, обдумывая на ходу, что он скажет Витьке, если тот снова к нему полезет. По обе стороны тропинки стоят, ощетинившись колючками, двухметровые татарники, отдавая полуденной жаре горьковато-медовый запах недоступных руке лиловых цветов, и Валька думает, не пересадить ли такое чудовище к бабушке в сад, где и без того тесно от разросшихся диких мальв, зверобоя и щавеля, и мысль о бабушке окончательно согревает его, так что и полотенце теперь уже не нужно, и его босые ноги не чувствуют набегу ни колкости высыхающей полыни, ни глубоких от коровьих копыт, вмятин. Добежав до песчаного спуска к реке, он внезапно наталкивается, как того и опасался, на Витьку.

Тот едет навстречу на оставленном Валькой велосипеде и явно не желает с кем-то на дороге встречаться. «Пропьет, – думает Валька, еще не зная, что делать, – а велосипед-то крепкий, почти новый...» И пока он, замедляя шаг, смотрит на приближающегося Витьку, что-то внутри него оказывается приведенным в действие, словно внезапно освобожденная пружина, и он на ходу хватается за руль велосипеда, как до этого ухватился за поводья спасшей его лошади, и велосипед вместе с Витькой опрокидывается на землю, сбив с ног и самого Вальку. Полотенце валяется на земле, и Валька, в чем есть, тянет велосипед на себя, закидывает на седло ногу, жмет с силой на педаль... но Витька хватает рукой заднее колесо и негромко, но внятно, предупреждает:

– Расскажешь кому-нибудь, убью.

Нисколько не сомневаясь, что так оно наверняка и будет, Валька жмет на педали, едва не отдавив Витьке руку, и бросает на ходу, не оборачиваясь:

– Отцу расскажу!

Он знает, что другие не считают электрика его отцом, но это их, других, дело. Другим, может, и неизвестно иное, кроме как по крови, родство. К примеру, Витька, он одной крови со своей матерью, Евдокией Андреевной, но что между ними общего? Он даже и молока-то не пьет. И вообще... тут Валька задумываеся, хмуро, напряженно, поскольку мысли не желают просто так нанизываться на привычные о жизни представления... что может быть общего между двумя людьми, разделенными между собой своими телами и имеющимся у каждого организмом, с исключительно *своим* дыханием и кровообращением? Вот бы спросить об этом учительницу. Но она не отвечает на не относящиеся к уроку вопросы. И надо поэтому доискиваться самому: что, собственно, *роднит* людей?

Весь вечер за забором у Витьки воет посаженный на цепь кобель, и это наводит соседей на подозрение, что впереди либо запой, либо кобеля тайком, с камнем на шее, утопят. Склоняясь ко второму, никто не суется за забор с советами, едва вынося повисающие на тонком золотистом месяце собачьи жалобы на несправедливую судьбу. Да и какая она, у собаки, судьба, одно только подчинение да подхалимство, да оплачиваемая страхом побоев служба. Электрику тоже надоело все это слушать, и, прихватив, к большому удовлетворению соседей, тяжелую мастеровку, он вламывается, плечистый и коренастый, к Витьке во двор. «Пришибет пса», – не сомневаются уже больше соседи, и никому из них не жаль коротконогого, большеголового кабысдоха.

Зажав мастеровку в правой руке, так что побелели суставы пальцев, электрик идет прямо к Витьке, сидящему на веранде за столом, с недопитой бутылкой самогона и полной окурков пепельницей. Витька, будучи уже наполовину «там», все же соображает, что сосед явился по его душу, и, как может, готовится отбиваться от кражи велосипеда и теперь уже уплывших по течению Валькиных трусов. Электрика в деревне уважительно побаиваются, после того, как он, раздобыв где-то настоящую, а не китайскую, бензопилу, пообещал снести башку любому, кто обидит хотя бы одну его курицу. Соседи видят, как ловко он орудует этой рычащей, как черт, пилой, наводя порядок у себя в саду, и никто не решается попросить пилу взаймы или хотя бы выспросить, где он такую достал. Хоть и приезжий, и притом неизвестно откуда, электрик крепко в деревне прижился, будучи по природе своей хозяином и не терпя ни от кого никаких глупых указаний. Земли у него столько, что хоть держи стадо коров, огород тянется аж до самого Дона, но берег в том месте заболоченный и гнилой, заросший осокой, среди которой гнездятся дикие утки, и электрик намеревается устроить себе купальню, осушив болото и отведя воду в пруд, котлован для которого начали уже рыть под высокими, с вороньими гнездами, тополями. Другие тоже понимают, что пора уже начинать хорошо жить, а как, никто толком не знает. За теми, кто успел наворовать миллионы, не угонишься, а своего... да где оно, свое... Каждый держится за малое, не рискуя потерять и это, а уж о большом даже и во сне никому ничего не снится. Так и проходит жизнь, не давая никаких обещаний на будущее, в мелкой возне и ссорах с соседями, которым ведь тоже ничего особенного в жизни не дано. И выходит, что рождаешься ты неизвестно зачем и просто ползешь туда же, куда и все, по проложенному не тобой пути. Впрочем, об этом никто в Донском не думает, да это и к лучшему, иначе не спившаяся еще половина деревни обязательно сопьется, тем самым положив конец напрасным претензиям души на какую-то в мире значимость.

Остановившись перед верандой и исподлобья уставясь на Витьку, электрик, похоже, приготовился к сведению своих отцовских счетов. Ему ничего, бугаю, не стоит раздолбать мастеровкой бетонные перила, снять с петель дверь, перевернуть залитый самогоном стол, прижать самого Витьку к кирпичной стене и бить об нее головой до тех пор, пока у того не слетит с распухшего от пьянки языка последнее слово раскаяния... Впрочем, Витька готов раскаяться уже сейчас, ему жалко свою, хоть и никудышную, но все-таки жизнь, и разве это его вина, что тянет его не на баб... хотя мать, давно уже разглядев его наклонности, говорит, что никакая свинья так низко, как он, в грязь не ляжет... Может, сама мать-то его и испортила своим совершенно не бабьим характером: она всегда была главой семьи, не считая пьяницу мужа за человека и зарабатывая на своих коровах втрое больше любого мужика. Она хотела к тому же иметь девочку и заранее запаслась веселыми ситцевыми платьицами и чепчиками, которые сама же и сшила, сидя по вечерам за допотопным дребезжащим «Зингером», но вместо девчонки родился Витька. Он видел в матери... отца, да, сильный пол, ничуть не затронутый ни гибкостью приспособительства к чужой воле, ни тем более способностью выносить чужие промахи. Одни только коровы и вызывают у матери нежную привязанность и сердечное беспокойство: она любит их как каких-то особенных ангелов, по ошибке судьбы спущенных на землю, вместо того чтобы принимать причудливые формы облаков или светить, мерцая в ночи далекими звездочками. И коровы, конечно, это замечают и доятся поэтому обильно и долго, до глубокой старости. Сколько раз Витьке приходилось это видеть: корова лижет руки матери, как какая-то собака, и Витька поэтому никогда не пьет молоко, внутренне отвращаясь от этой, не относящейся к нему самому нежности.

Одним прыжком одолев четыре недавно побеленные каменные ступени, электрик брякает об стол мастеровкой, едва не опрокинув стакан с остатками желтого самогона, и глухо, с угрозой, произносит:

– Отвяжи пса сей же момент! Пошто скотину на цепи весь день держишь! Тебя бы самого привязать так!

Не ожидая такого поворота дела, Витька сначала тупо на электрика смотрит, а потом, словно до него наконец дошло, ворчливо огрызается:

– Так ведь пес же...

– Я говорю, отвяжи кобеля, а если потравишь, прибью.

Решив, назло электрику, тут же кобеля и отравить, сыпанув ему в молочную, от матери, кашу крысиного порошка, Витька вспоминает, что собирался как раз менять на кухне проводку, и только бормочет скороговоркой путаную матерщину. В конце концов какое ему до этого кабысдоха дело.

– Отвязывай сам и вали отсюда, – опасаясь, как бы электрик не завел разговор о мальчишке, торопливо соглашается Витька, косясь на ржавую, с загнутым клювом, мастеровку. Про себя же он решает Вальку больше не трогать, не один же он такой ладненький мальчуган в деревне, а кобеля при случае утопить.

Вернувшись с луга домой, Валька не верит своим глазам: во дворе, перед свинарником, возится черный, как перепачканный навозом боров, здоровенный негр. Неумело ковыряя лопатой ссохшуюся от жары землю, он беспрестанно чему-то улыбается, выпячивая обезьяньи   
чернильно-фиолетовые губы, и Валька из этого заключает, что негр этот настоящий, всамделишный. Откуда он в деревне взялся, другой вопрос, а пока надо успеть насмотреться на круглую, как шар, прическу, потное, как из бани, лицо, бугрящиеся под крикливой майкой мускулы рук. Таких чудовищных мускулов Валька ни у кого еще не видел, даже у своего электрика-отца, и это наводит его на мысль о собственной никудышности и хилости: тонкая, как у цыпленка, шея, болтающиеся в рукавах и штанинах руки-ноги, и это притом что суп он ест дважды в день, у матери и у бабушки. Устроившись на старом ящике возле будки Брюса, Валька принимается наблюдать за негром. И первое, что кажется ему удивительным, это как раз молчание Брюса, обычно облаивающего всех, кто приходит во двор: высунув от жары мясистый розовый язык, пес равнодушно пялится на гуляющих по двору кур. Валька долго размышляет об этом и наконец решает спросить у матери: не случилось ли чего с Брюсом. Из кухни тянет пригорелым постным маслом, сладко пахнет свежими оладьями, и Валька знает, что в шкафу у матери стоит трехлитровая банка меда. Пробравшись в тесно заставленной кухне к столу, он окунает горячую дырчатую оладью сначала в сахар, а потом в сметану, хватает вторую, третью... и наконец спрашивает про Брюса, и мать недолго думая поясняет:

– Не брешет, потому что за человека негра не считает, а на скотину чего брехать...

Быстро проглотив ком оладьи, Валька снова идет во двор, на этот раз, чтобы самому убедиться, так ли обстоит с негром дело.

Шкрябая по твердой земле лопатой и едва лишь задевая корни пырея, намертво вцепившиеся в это свое место под солнцем, негр улыбается, скорее всего, от досады, да и лопату он держит неловко, словно какую-то безделушку, время от времени стряхивая со лба пот розовой с обратной стороны ладонью. Узнав перед этим от матери, что негра нашли на бирже труда, где летом толпятся студенты, бомжи и всякие приезжие, Валька заключает, что это и есть тот рабочий, о котором говорил на прошлой неделе отец, и что теперь перед свинарником будет наконец залитая бетоном площадка. С такими, как у этого Джо, нечеловеческими мускулами можно залить бетоном все имеющиеся в деревне дворы, засыпать щебенкой и покрыть асфальтом раскисающие в дождь улицы, вскопать заросшие лебедой огороды, вырыть колодцы и скважины... Короче, что бы там Брюс про негра ни думал, приобретение это было крайне полезным.

Решив до всего дознаться сам, Валька перво-наперво интересуется, подойдя к свинарнику:

– Твой отец, Джо, кем он работает?

Не переставая улыбаться, Джо охотно поясняет

– Мой папа работает королем. Но денег он мне больше не высылает, у него кроме меня еще восемь сыновей, а у меня любимая девушка... понимаешь?

Валька понимающе кивает, у него самого есть Наташка, хотя с тех пор, как они купались с лошадью в реке, он ее не видел.

– И к тому же, – дыша на Вальку жаром неизвестного ни здешним курам, ни тем более сидящему на цепи Брюсу африканского лета, продолжает Джо, – я завалил сессию, и меня выперли из вуза... – тут он глубоко, как умеют разве что коровы, вздыхает, – выперли к тому же из общежития, а девушка живет в Белгороде, к ней на поезде надо ехать...

Дальше Джо рассказал, как на автобусной остановке к нему пристали местные, сроду не видавшие черных, и если бы не подоспевший электрик, пришлось бы ему пешком, с вывернутыми карманами и на голодный желудок, возвращаться в свою Африку.

– Давай-ка я научу тебя копать, – тронутый взволнованностью этого рассказа, предлагает Валька и берет из рук Джо лопату. Упершись в нее пяткой и рубя с размаху комья земли, Валька покрикивает по ходу дела на свиней, выставивших из-за перегородки грязные пятачки, и Джо в точности повторяет эти магические движения, и Валька думает, что мать все-таки права: ни один человек в деревне не поддается такой быстрой дрессировке.

К вечеру двор был расчищен, и Джо остался ночевать во времянке, летом пустующей, а с осени занятой козами. Ночь была короткой и теплой, уже к трем часам завозились в курятнике и стали пробовать голос петухи, и Валька то просыпается, то снова ныряет в комариный сумрак рассвета. Ему снится одно и то же: как его везут, усадив на мягкий, удобный стул, в неизвестном направлении. Он смотрит по сторонам, радуется красивым пейзажам, и пахнет вокруг чем-то вкусным... но куда везут, не говорят. Хотя говорят они много, эти в общем-то симпатичные люди, которых, как кажется Вальке, он где-то раньше видел. И хотя они говорят на непонятном ему языке, смысл сказанного ему совершенно ясен: там, впереди, достаток, беззаботность и полная безоблачность жизни. Как раз то, чего все так сегодня хотят. Валька и сам не против, только вот ему кажется, хотя все это происходит и во сне, что самому ему как-то труднее становится... думать. Да оно в общем-то и не нужно, там, впереди, думать: те, кто его туда везет, пусть они сами и думают. И скорее всего, они с этим справятся, с их-то интеллигентностью, и не надо задавать им беспокойных вопросов. Одно только Вальке не нравится, что сон никак не досматривается до конца, всякий раз обрываясь в момент предъявления едущими паспортов: имена их так и остаются неназванными, а сами они – неузнанными. И Валька думает, просыпаясь, что так не должно быть, когда везет тебя неизвестно кто и неизвестно куда, как бы хорошо там, впереди, ни было. Оно ведь, хорошо, может быть, и пьяному Витьке, дрыхнущему под забором, по его же понятию. И только окончательно проснувшись и убедившись, что Беня тут, в ногах, а петухи кричат уже вовсю, Валька мгновенно понимает, не тратя ни секунды на размышления, что плата за будущее, во сне, счастье чересчур высока: у него оказывается изъятой свобода сомневаться в собственной удаче. А без свободы он... что? Он даже и на свинью-то не потянет, так, заводная игрушка. Вот должно быть, чем эти симпатичные парни на самом деле заняты: куплей-продажей. Им бы купить то, что подороже, чему вообще никакой цены нет, и бабушка как-то сказала Вальке, что это – человеческая душа. Но сначала они, обещая самое-самое лучшее, доводят твою душу до разорения, до полного, как говорят в телевизоре, дефолта, так что никому уже и не охота вытаскивать эту дешевку из кучи мусора, и только тогда, вроде бы оказывая душе неоценимую услугу, эти ребята покупают ее... до чего же трудно все это осмысливать!

Сунув голову под струю воды над кухонной мойкой, Валька вспоминает про негра и решает тут же разузнать, где тот собирается коротать зиму. Лучше всего было бы впасть, как ящерица, в спячку, предусмотрительно зарывшись под куст смородины или под вишню, но негр вряд ли станет это делать, он и копать-то как следует не умеет, при его-то   
мускулах. С этой мыслью Валька идет смотреть, какое задание отец дает Джо на день.

– Три ведра бетона сюда, к стене свинарника, и три ведра сюда... и еще сюда...

Джо внимательно слушает и видно, что хочется ему электрику угодить, да прямо сейчас и начать, пока еще не так жарко. Отец садится на мопед, жмет газ и на ходу бросает Вальке:

– Присматривай за ним, пока я на работе.

Присматривать надо еще за курами, утками, перепелками и гусями, надо вывалить свиньям ведро жратвы, налить в корыто воды... делов-то! Но пока Джо месит лопатой бетон, можно сгонять к Дону, окунуться. Валька тут же садится на велосипед, и его гонит вперед мысль о Наташке... Но на берегу он видит только стадо коров. Он думает о ее золотисто-русых косах, и внезапно его осеняет страшная мысль: что если она отрежет их к первому сентября? Что если придет в пахнущий свежей краской, только что отремонтированный класс с бритым затылком? У Вальки аж мурашки побежали по телу. Стоит только сказать девчонке, что у нее классные волосы или брови, и она тут же их срежет и повыщипывает, дура, а то, что осталось, выкрасит под баклажан. «Если отрежет косы, – после некоторых колебаний решает Валька, – не стану на ней жениться».

С этой тревожной мыслью он возвращается во двор и сразу идет к свинарнику: не наворочал ли чего негр. Возле самой перегородки высится, подпирая стену, куча бетона, да тут больше, чем три ведра! Вот ведь как негр старается: натаскал столько за полчаса! Джо и в самом деле весь в работе: навалив бетон в огромную *выварку*, он тащит ее волоком по земле и опрокидывает возле свинарника, и пот катится по его круглому и черному, как только что вырытая из земли редька, лицу.

– Тебе же сказали, три ведра! – сердито кричит ему Валька.

– Так я уже третье тащу, – бормочет, едва переведя дух, Джо, – и туда еще три... и туда...

Сердито сведя выгоревшие на солнце белесые брови, Валька хочет тут же негра и обматерить, как сделал бы наверняка отец, но... принимается вдруг хохотать, и Джо, еще не понимая, в чем дело, тоже поне-  
многу прихохатывает, и наконец оба, стоя возле свинарника, трясутся от смеха, наводя свиней на подозрение о подступающих к ним переменах: кому-то наверняка оторвут скоро яйца.

Еле подняв ведро с бетоном, Валька тащит и удивляется, откуда у него вдруг столько сил. Как будто не он сам, но кто-то другой, правит теперь его дыханием и пульсом, разгоняя волю до ярости и отметая всякую усталость. «Вот сейчас, – думает он, глядя на запыхавшегося Джо, – ты узнаешь, негр, кто из нас двоих сильнее!» Пот катится по его спине и животу, колени дрожат, руки отказываются хватать режущую ладонь дужку ведра, и в самый несносный, выше всякой натуги, миг Валька видит над собой могучие крылья... Потом он рассказал бабушке, что были они оранжево-розовыми, как поспевающие в августе абрикосы, и бабушка заключила, ничуть в этом не сомневаясь, что то был Валькин ангел-хранитель.

Разбросав по площадке бетон, они сели в тень, под грушу, по очереди прикладываясь к банке с водой.

– Ну и жарища, – метко, как отец, сплевывая в пыль, замечает Валька.

– Тепло, – соглашается Джо.

Из соседнего двора потянуло свежими щами, и Валька подумал уже позвать Джо на кухню, где хоть и беспорядок, но стоят в холодильнике вчерашние щи, но тут забрехал спрятавшийся от мух в будку Брюс, и за калиткой ему немедленно ответили, заливисто перелаивая друг друга, два спаниеля. «Борисыч», – узнавая собак по голосу, забеспокоился Валька, зная, что тот придет кастрировать кабана. Но Борисыч явился вовсе не за этим.

Оба спаниеля, Сотовая связь и Минздрав предупреждает, бывали тут раньше и поэтому нисколько не боятся Брюса, рвущегося теперь с толстой, в Валькину руку, цепи. И в доказательство своей храбрости Сотовая связь лезет под сетку и принимается, невзирая на надетые по случаю течки трусы, отчаянно вилять Брюсу обрубком хвоста.

– Сука, – угрюмо поясняет, закрывая за собой калитку, Борисыч, – повяжем ее с Беней, хоть он ей и сын. Да тут, я вижу, – он с удивлением уставился на Джо, – мировое сообщество! Приехали в гости, к друзьям? И как вам наша Россия? – не дожидаясь ответа растерянно улыбающегося Джо, он сам же и уточняет: – Страна рабов, страна господ.

Глянув для поддержки на Вальку, Джо говорит, что ему тут очень даже нравится, особенно девушки и шапки-ушанки, в которых зимой тепло. И Валька шепчет ему на ухо: «Скажи, что твой папа работает королем!» И Джо послушно докладывает:

– Мой папа самых лучших правил... – он тут же вспоминает, что так учили его на подфаке, на случай если доползшему до пятого курса негру когда-нибудь придется стать в своей африканской демократии дипломатом, а то и премьер-министром.

Вернув из-за сетки загулявшую Сотовую связь, Борисыч крепко зажимает ее под мышкой и, грозно свистнув убежавшему к курам Минздраву, садится в тень под грушу. Щей ему, правда, не хочется, он недавно позавтракал, но в присутствии мирового сообщества он не прочь изложить свой план обустройства и тотального облагораживания все еще никак не сгнивающей державы. План этот предельно прост и смахивает скорее на успешное блиц-наступление, чем на длительное и, увы, безуспешное «неизвестно-чего-строительство»: дать из державы деру. И, разумеется, в США, куда же еще, там наших по крайней мере десять миллионов, и даже гастрономы и те торгуют по-русски.

– В Париже бывали? – не без зависти допытывается Борисыч у негра, – В Лондоне... то есть, пардон, в Лондонграде? А я вот сижу тут, в нашем Лукоморье... Хотите, прочитаю, и притом наизусть, недавно законченную поэму?

Джо охотно кивает, он не прочь всхрапнуть и расслабиться, а Валька думает про учительницу, задающую зубрить наизусть что попало.

– У Лукоморья дуб зеленый... – не без торжественности начинает Борисыч и тут же скороговоркой мямлит: – ну и так далее, так далее... а теперь, собственно, сама поэма:

Увидит правых, песнь заводит,

А левых – сказку говорит,

Там чудеса: шпана там бродит,

А честный люд в тюрьме сидит...

Улыбаясь и кивая в такт каждой рифме, Джо закрывает от удовольствия глаза: прямо как колыбельная! Его хвалили еще на первом курсе за хорошую память, и он помнит, что Пушкин, с пейсами и шестиконечной на могиле звездой, оставил с носом тех, кто и сейчас допытывается,   
откуда он, собственно, такой Пушкин, взялся? Такой, что сколько не переиначивай под матершину «Онегина», сколько ни хватай с блюда готовых к употреблению графоманских рифм, все равно авторами этой чепухи никто не интересуется, а все только галдят: «Пушкин! Пушкин!» Шумно вздохнув и рухнув африканой на плечо к Вальке, Джо, не стесняясь уже, храпит.

Валька же, напротив, пребывает в полном бодрствующем внимании: уловить впечатление от непонятных пока слов, чтобы потом, когда наступит для того время, вычерпать из этих слов их смысл... Да может, это время никогда и не придет, обойдясь напрасной мечтой о повзрослении и зрелости. Вон сколько кругом взрослых, а никто из них ведь толком не знает, чего ждать завтра, и живут поэтому как однодневки: вырос, наелся, размножился. Для Вальки же такой расклад никак не подходит, и он втайне догадывается, что был... всегда. Ведь стоит только подумать о себе: «Я...», и тут же становится ясно, что не может это «Я...» никуда на сторону улизнуть, хотя чего только оно в себя не впихивает, как хорошего, так и плохого. Оно ведь и Витька тоже может сказать о себе «Я...», но это будет совсем уже другой мир, и невозможно поэтому брать на себя ответственность за другого. Глядя на Витьку, кто-то, может, скажет: «Пьет вся деревня», но деревня – это не только Витька, из чего сказанное оказывается враньем. Валька стал замечать, что люди гораздо охотнее говорят о плохом, словно оно, плохое, важнее хорошего, тогда как хорошее выходит у них само собой разумеющимся, будто свалившимся с неба в разинутый рот. Люди ходят на Пасху в церковь, стоят в длинных очередях, чтобы освятить кулич, иначе говоря, впустить в дрожжевое, с изюмом, тесто самого Бога, чтобы потом его съесть, тем самым став добрее и лучше. Но Валька думает, что Бог так просто не даст себя прожевать и переварить, а тем более не клюнет на изюмную приманку. На Пасху распускаются под березами голубые пролески, набухают почки черемух, и Валька переживает каждый раз одно и то же: он сам словно отрывается от земли, клубясь вместе с могучими облаками над едва зеленеющим полем. И почему только никому нет до этого дела?

Наверняка и Борисыч ничего об этом не знает, хоть он и поэт, не знает о том, что любое дерево, любой сидящий на листе червяк куда совершеннее самой изощренной его поэтической абракадабры. Не знает, ничего об этом не знает! Иначе разве погнал бы он своих спаниелей в болото таскать ни в чем не провинившихся перед ним уток. Потом Борисыч хвастается перед соседями, сколько он этих уток настрелял, и соседи ему завидуют. Но почему *Я* должен делать то же самое?

К калитке подкывает на мопеде отец, и Борисыч, напрягая голос до крика, поднимается из тени и идет ему навстречу:

Там люд, хоть без свободы тужит,

Но властелинам верно служит,

Там временщик над златом чахнет,

И там сортиром часто пахнет...

Пожав Борисычу руку, электрик живо интересуется:

– Автор-то кто? Не Пушкин?

– Борис Бессмертный, – скромно, но с достоинством, поясняет Борисыч, – это мой последний опус. Поэма идет нарасхват, глянь только в Интернет, и просто так, бесплатно, ее не скачаешь!

– Классная поэма, – сдержанно хвалит электрик. – Писал-то небось кровью?

– Кровью, – кивает Борисыч. – А ты откуда это знаешь?

Электрик едва заметно усмехается, и Валька, глядя на отца, понимает: тут рядом линия фронта. Тут стоят друг против друга, держа наготове штыки, две враждующие державы, и эта битва длится уже не одну тысячу лет. Только вот за что они так долго бьются? Отец как-то сказал, что скоро, совсем уже скоро, и притом в Америке, родится на радость многим и многим миллионам Великий Гений, продвинутый такой, знающий все наперед мальчик по имени Сатана, он-то и научит людей *правильно рассуждать*. Понятливость, сказал тогда отец, не там, где отточен до блеска критический ум, но там, где есть устремленность к *свободе.* А это... что это в самом деле такое? Это, сказал отец, *подъемная сила*, которую каждый развивает в себе сам и на которую Сатана хочет наложить вечный, на все времена, запрет. Ты можешь критиковать и перекритиковывать саму критику, но стать выше материи с ее законодательной *необходимостью* – не смей! И чтобы тебе еще слаще в этой материи тонулось, продвинутый мальчик Сатана гениально назовет себя твоим Спасителем. И ты с радостью пойдешь за ним, веруя, но отобьешься от стада, *зная*.

Пока идут к дому, договариваются, что щенков Борисыч забирает себе, а одного так пусть электрик хоть утопит. С тем и впускают Сотовую связь в темную, тесно заставленную ящиками и коробками комнатушку, где прячется под старым диваном Беня. Сами же идут на кухню, где разогреты уже вчерашние щи, и Валька тоже садится за стол, перед этим плеснув негру в миску побольше капусты и разварившейся картошки. О чем говорят мужики, всегда интересно послушать, тем более что сам часто с ними не соглашаешься, тем самым проверяя на прочность свое мнение. А мнение у Вальки такое: Пушкин сочиняет лучше, чем Борис Бессмертный. Вот только почему это так, Валька пока не понимает, и надо это поскорее выяснить, иначе ведь учительница заставит учить наизусть Борькино «Лукоморье».

Обнюхав вытертый коврик, коробки с нештопанными носками и ножки стула, Сотовая связь садится возле дивана, под который забился Беня, надеясь выманить его сладким запахом течки. Но Беня сидит как проклятый у самой стены, в пыли и в паутине, твердо уверенный в одном: пока его бывший хозяин тут, надо прятаться. Вдруг да заберет обратно? Посадит в прихожей на цепь, бросит раз в день пригоршню бумажного сухого корма, погонит в вонючее болото... Потому-то Беня так и трясется за диваном, и ему вовсе не до женитьбы. Но темнота любит свои тайны и выдает их разве что в особом, исключительном случае: в комнату незаметно пробирается старый, с седой бородатой мордой, скотч. При всей миниатюрности своей благородной породы он держится по-хозяйски независимо, да, просто так его не обойдешь, и Сотовая связь, будучи намного крупнее его, тут же кокетливо приседает, ну прямо барышня, и получается очень даже... пока Беня скулит, трясясь под диваном от страха. Темнота тут же отзывает свою тайну обратно, не нарушив при этом природного порядка вещей и пообещав скотчу бородатое, с вислыми до земли ушами, потомство.

Щи съели, дальше идут макароны с ливерным фаршем и компот из незрелых яблок. И все это время говорит один только Борисыч, удивительно подробно осведомленный насчет своей будущей счастливой жизни в Америке. Электрик, впрочем, не верит ни одному его слову,   
но слушает охотно и время от времени кивает: так оно, зараза, и есть. Вон демократы, и те того же мнения: надо поскорее освободить державу от излишков интеллектуальности (а то еще люди допрут, что демократия на деле есть та же самая, что и всякая другая диктатура, жопа), создать для этого подходящие условия... то есть сделать условия жизни совершенно для человека неподходящими. Да, но как?

Недоверчиво глянув на электрика – сам что ли до всего допер? – Борисыч молча соображает: давать ему повод и дальше так выпендриваться или же самому рубануть что-нибудь такое... насчет, например, секретного американского оружия, гонящего на державу циклон и застопоряющего антициклон, распыляющего в державном воздухе любую, какая кому по вкусу, заразу... Не каждому обязательно иметь критический ум, а тем более простому, незаметному человеку. Кто-то должен ведь работать. Работать, не критикуя. Возить на свалку мусор, копать кортошку, пилить дрова... Конечно, можно поручить всю работу китайцам, вон их везде сколько, да так оно скоро и будет.

– Ты-то зачем в Америку едешь? – с видимой одному только Вальке усмешкой интересуется электрик, прислушиваясь к собачьей возне за стеной.

– Еду или не еду, тебе какое дело, – ворчит, глядя в сторону, Борисыч, – мне тут, может, жить надоело, вон уже шестой десяток мотаю. Да и родственники у меня там со стороны жены, – он морщится, – состоятельные жертвы концлагерей и погромов, с такими не пропадешь. Кстати, тут, на родине, так сказать, все они числятся умершими... – Борисыч понижает голос до шепота, – зато в Конннектикуте никому из них не хочется умирать, но хочется, напротив, жить вечно... Вот ты, к примеру, – неожиданно обращается он к Вальке, – ты хочешь жить вечно? Хочешь или не хочешь? Ну?

Валька не знает пока, вопрос это или приказ, и только выжидающе пялится на Борисыча, с трудом нащупывая на каком-то своем таинственном дне еле слышный ответ. Он ведь знает уже, не зная, правда, откуда он это знает, что был *всегда*, и стало быть, всегда и будет, и это следовало бы принять за основу всякой о жизни и смерти болтовни. Лично ему кажется, что он попросту занырнул десять лет назад в окружающие его теперь условия, а до этого был в куда более приятных местах... ну хоть убей, Валька в этом уверен. И то, что он очутился именно здесь, на этом месте, в этой деревне, имея при себе этих, а не каких-то других родителей, кажется Вальке незыблемо справедливым, хотя есть на земле и другие места, другие дома и деревни. Он подозревает, что именно здесь ему предстоит выполнить не какую-то чужую, но *свою*, вместе с ним вырастающую из этой почвы задачу.

– Да и как ты можешь этого хотеть, – продолжает наступать на Вальку Борисыч, – если живешь не только в стране дураков, но еще и в стране вечных, пожизненных рабов! Россия есть изначально *раба,* и ничего иного история нам не преподносит. Кстати, в Коннектикуте я как раз и собираюсь преподавать всемирную историю.

– Тогда, конечно, поезжай, – электрик устало зевает и идет смотреть, что там у собак.

Лежа на спине на диване, Сотовая связь кажется вполне довольной свиданием, а Беня, едва учуяв электрика, тут же вылезает из-под дивана и принимается жаловаться на несправедливость, наклоняя лохматую голову то влево, то вправо и метя ушами пол. Человек не понимает собаку так, как та его понимает, вот и приходится поэтому таращить глаза, скрести лапой пол, оставлять на ковре лужи. Почесав лохматое брюхо Сотовой связи, электрик мазнул на палец то, что осталось у нее под хвостом, и цвет оказался как раз тем, что надо, прозрачно-розовым: это ее, сукин день. «Увезет с собой щенка в Америку, – благодушно думает он, – к лучшей, может быть, жизни...» Самому же ему неохота ехать даже в город, хотя это совсем рядом, в двадцати минутах на мопеде, и никто пока не дознался, если не считать жены, в чем состоит его, электрика, глубокая жизненная тайна: иметь только то, чему никто в мире не завидует. Дом-развалюха, наполовину, ввиду нехватки средств, обложенный силикатным кирпичом, всякое старье во дворе, вечные хлопоты. Он сам, впрочем, не считает себя бедным, вон сколько вокруг непаханной земли, в болоте полно воды, воздух сладко пахнет соломой и навозом, и в зарослях синего винограда, что напротив крыльца, который уже год вьет гнездо соловей. Никто не считает все это богатством, никто поэтому и не завидует. Если бы только не деньги... за ними приходится мотаться по пригородам, вступать в склоки и сомнительные сделки, нарываться на спекуляции. Но и это тоже, полагает электрик, важно: научиться узнавать зло в лицо, со всей его броской косметикой деловитости. От зла, конечно, не следует ожидать никакого добра, но не уступать ему всегда можно. Зло ведь как паразит: само по себе оно ничего не значит, злу нужен человек. И пока человека ценят по его уму, не учитывая при этом, темен ум или солнечен, зло будет неизменно умнее самого умного. Но эта *интеллигентность зла* вовсе не кажется электрику таким уж неодолимым в жизни препятствием: достаточно просто ее не принимать. Не хотеть, к примеру, топить свои мысли в общественном мнении, не примыкать ни к каким партиям, группам, сектам или движениям, не ждать помощи со стороны, не ставить телесные удовольствия выше душевного покоя... на всякий случай электрик держит под рукой мастеровку.

Вернувшись на кухню, он наливает себе из-под крана воды, пьет, споласкивает лицо и шею, берет с крючка грубое льняное полотенце. Но прежде чем снова сесть на мопед и газануть до соседнего села, он как бы между прочим, мимоходом, бросает Борисычу:

– Принять жизненную механику такой, как она есть, не вдаваясь в ее сатанинскую суть, это и есть лучший способ отделаться от всякого в жизни смысла: никаких моральных стимулов труда, пожизненная *привязанность к ненавистному.* В Америке, думаю, то же самое. Везде одно и то же.

– У Америки есть будущее, – запальчиво перебивает его Борисыч. – Тогда как у России никакого будущего нет, говорю это совершенно искренне: не вижу я никакого у державы будущего! Говорю это еще и как историк: чтобы такое будущее у России было, следовало бы вернуться назад, в предсоветские годы, что совершенно невозможно...

– Туда уже не вернешься, – соглашается электрик, – сказал же Иван Бунин, что Россия погибла навсегда.

– Вот именно, – удовлетворенно кивает Борисыч, – навсегда!

– Погибло то, – не обращая уже на Борисыча внимания, продолжает электрик, – чему и следовало погибнуть: дурацки-восторженная вера в добро. Добро – это ведь не праздник, но тяжелый и притом непрерывный труд. Труд, кстати, над *собой.* А тогда, перед самым концом, хотелось, чтобы кто-то пришел и избавил от *трудностей.* И тогда явились избавители, не имеющие с Россией ничего общего...

– …сейчас ты скажешь, что это мировой заговор и так далее, – нетерпеливо вставляет Борисыч, – тогда как на самом деле, – тут он   
снисходительно электрику кивает, – державу сгубило расхлябанное русское крестьянство!

Уставившись на гостя, электрик молчит, и Валька, все это время старавшийся уловить, о чем это взрослые мужики препираются, ощущает где-то в горле, где ворочаются, до того как быть произнесенными, слова, что отец скажет сейчас что-то важное. Он отхлебывает в ожидании компот, посматривая то на отца, то на гостя, и ему кажется, что оба они правы, и это наводит его на мысль о своей собственной правоте, которая никак пока ему не дается. Компот кислый, почти без сахара, варенье у матери кончилось еще в мае, и зубы поэтому ломит, и Валька отливает себе из бидона молока. Густое и сладковатое, молоко предназначается теленку, а значит, производится *по любви*. У этой коровьей любви, правда, нет никакого выбора в сторону всяких человеческих безобразий... тут мысли Вальки путаются, но что-то остается светить внутри: без любви нет никакого ума. Учительница в школе говорит, что надо стараться, хоть ты и не любишь этот предмет. Но разве это не напрасные старания? Сама-то она тоже этот свой предмет не любит, но за старание ей платят деньги, как какой-то проститутке, да еще родители суют подарки и деньги. Вот ведь, чему у нее можно научиться. Другое дело корова, не пьющая свое молоко, или пчела, никогда не пробовавшая свой мед, они все это *отдают*, и исключительно по любви. Валька слышал, что в соседней деревне, где всегда торговали медом, теперь мрут у всех пчелы: как будто кончают самоубийством всем ульем. И никому непонятно, в чем дело. И только, может, один Валька и догадывается: пчелы мрут от человеческой жадности, не любят люди своих пчел, воруя у них самое необходимое и подсовывая взамен сахарный сироп с липовым чаем. И не только голод, заставляющий самых сильных пчел перегонять сахар в подобие меда и убивающий слабых, но само сотрудничество с человеком-вором становится для пчел бессмысленным. Как-то раз, помнит Валька, дикие пчелы завелись в прибитом на стену дома березовом пеньке с дуплом, где до этого жили синицы. И те и другие влетали в дупло, нисколько друг друга не беспокоя, и как они там, в тесноте, умещались, с птенцами и сотами, оставалось для Вальки величайшей загадкой. Прислонив ухо к деревянной стене, он слушал возню и писк, и непрерывное медовое гуденье, и ему хотелось любить из всех, так чудесно в дупле устроившихся. В конце концов им стало тесно, и первыми вылетели пчелы, оставив в дупле весь свой зимний медовый запас. И тут же явились осы, до этого жившие в старом ботинке электрика и построившие там круглое гнездо из серой осиной бумаги. Осы ели мед и пьянели, валясь с раздувшимся брюшком на подоконник, и Вальке хотелось самому этот мед попробовать, и он упросил отца снять со стены березовое дупло. Оставшийся в разоренных сотах мед был темно-коричневым и густым, и запах его был неописуемым: в нем была собрана вся, какая только бывает летом, любовь. Вся пчелиная мудрость, с их шестигранными сотами и совершенным порядком в улье, произошла от любви, так же как и сладость их меда. И если бы Валька смог, в свои десять лет, проникнуться законами этой природной мудрости, ему незачем было бы ходить в школу, где учат только зубрить и угождать учительнице. Валька не знает пока, что бывает у людей в их будущем, и нет у него ни малейшей нужды об этом думать. «Вот будет мне шестнадцать...» – а дальше ничего не известно. И почему только это так занимает взрослых: все о будущем да о будущем, хотя сегодня можно было бы сделать кучу полезных дел, откладываемых на потом, к примеру, перевести свиней на лето на огороженный сеткой лужок, а то ведь и солнца за свою короткую жизнь не видят, убрать с берегов Дона мусор...

– Будущее-то у державы есть, – осторожно, словно ступая по тонкому льду или трясине, говорит наконец электрик, – и оно не в успешной нефтяной экономике и не в диктатуре закона, обслуживающего исключительно все ту же экономику, но... – тут он вроде бы запинается, увязает в непроходимости слов, – оно, будущее, в каждом из нас в отдельности! В каждой душе! И если все-таки говорить о каких-то общих целях, то общим оказывается лишь то, что уже не нуждается в знаках различия: возраст, пол, национальность... то, что вышло уже из пут... – он снова запинается, – из пут посюстороннего...

Валька замечает, как морщится при этих словах Борисыч, да прямо на глазах скисает и мрачнеет: лицо его вмиг отяжелело, стало надменным и жестким и что-то ревматически страдальческое отпечаталось на нем, словно судорога вечной, от которой невозможно избавиться, боли. Ясно, что электрик его в чем-то очень важном задел, и это дразнит Валькино любопытство.

– Это ты откуда взял? – как-то сразу осипшим голосом перебивает электрика Борисыч. – Где вычитал? В евангелии? Веришь пророчествам? Но ведь это *всего лишь* пророчества, и они уводят нас от жизни...

– …от разложения и расхищения жизни, – сурово уточняет электрик, жгуче глянув на Вальку, – пора уже разобраться в том, что выбор, который каждый добровольно делает сам, ежедневно и ежеминутно, есть выбор между удобством глупости и неудобством поумнения.

– Это ты на что намекаешь? – еще не веря, что все это сказано всерьез, пытается улыбнуться одними только тонкими губами Борисыч. – Я ведь могу и обидеться... – он требовательно кивает Вальке. – Правда, Валька?

Валька смотрит на него, не мигая, чувствуя, несмотря на жару, леденящий, как от невыученного урока, холодок. Учительница, бывает, вызывает к доске, пишет условие задачи, и Валька стоит как баран, слыша, как на первой парте хихикают девчонки. Тогда ему остается только одно, и он осознает это со страхом и трепетом: найти *свое* решение задачи. Учительница, конечно, не верит, что это он сам, и ставит поэтому три с минусом, и Валька рад, что это не двойка. Потом учительница пишет замечание родителям: слишком самонадеян. Мать пытливо смотрит на Вальку, не находя в нем похожести ни на свою родню, ни на отцову, но быстро смиряется с этим, решив, что так оно даже лучше, пусть разбирается с собой сам. И чтобы дело не стояло, она отсылает Вальку на птичий двор, накладывать в кормушки распаренное зерно, наливать в тазы воду, чистить клетки... Отец же, не споря с учительницей, бросает Вальке как бы мимоходом то ли вопрос, то ли уже найденный ответ: кроме как на себя, надеяться ведь не на кого? Раньше у людей был разговорчивый, а порой даже весьма болтливый Бог, снабжавший слушателей разными полезными советами, как жить и зачем. Но все до поры до времени, и Бог постепенно улизнул из разговора, стал молчаливым как рыба, как, может быть, камень. И сколько не надейся теперь, сколько ни ставь торчком уши, ничего само уже не приходит: Бог сам теперь слушает, что ты ему скажешь. Иначе говоря, пора начинать кумекать самому. И если приходится решать у доски задачу, ее нужно *решать*.

Борисычу Валька решил пока не отвечать, а то еще тот и взаправду обидится. Он ведь обещал взять Вальку на охоту, прокатить по болоту на плоскодонке, пообещал даже дать разок стрельнуть по уткам, чем ввел Вальку в мучительные сомнения: не убивать птиц или все-таки попробовать? Поэтому он молча убирает со стола тарелки и, моя их под холодной водой, старается теперь на Борисыча не смотреть. И тот наконец стал собираться, оставив Сотовую связь для дальнейшего хода случки.

Его отсутствие сразу учуял Беня, и как только захлопнулась калитка и Минздрав предупреждает визгливо залаял на кого-то на улице, Беня осторожно обнюхал Сотовую связь. И Валька выпустил собак во двор, к великой зависти и беспокойству сидящего на цепи Брюса.

Залив бетоном площадку перед свинарником, Джо снова оказался без дел, и впереди было пять холодных месяцев, и только в феврале его обещали вселить в общежитие, повторно посадив на четвертый курс. Окажись у его многодетного папы, который, неизвестно еще, был ли его папой, хоть немного совести, он прислал бы Джо денег, чтобы тот мог скоротать осень и зиму в теплом Неаполе, с дешевым красным вином и покладистыми, по той же цене, девушками, или, еще лучше, втиснуться в негритянскую коммуналку на Монмартре, или поселиться на неопределенный срок у знакомой продавщицы-француженки, ценящей в любви ее непредсказуемые последствия... Но все это оказывается теперь небылицами из какой-то другой жизни, от которой Джо оказался отрезан, может быть, навсегда. Одно только его и спасает – короткая, как и у всех его девушек, память: имеешь и тут же забываешь. С такой памятью можно жить и жить, ничему при этом не научаясь, налегке и с улыбкой, никогда не отцветающей на его фиолетово-черных губах. Бывает, под пышную африкану Джо пролезает такая вот дерзкая мысль: не лучше ли получить степень магистра в Оксфорде? И тут же из-под густо вьющихся волос брызжет во все стороны радостная весть: нет, не лучше! Намного лучше здесь, в среднерусской, с видом на Москву, глубинке, хотя здесь и убивают, случается, негров на улице средь бела дня. Один раз, правда, убили по ошибке шведа, у того тоже, как и у Джо, были белые с внутренней стороны ладони, но вдесятером ходить в магазин не так страшно. В Донском же пока не решили, считать Джо рабочей скотиной или придраться к нему, как к человеку, и пока местные решают, как им быть, надо самому определиться со своим статусом, и Джо склонен к тому, чтобы оставаться все-таки рабочей скотиной. Тут поблизости есть винзавод, и грузчики там всегда пьяные, и им плевать, черная у тебя морда или какая-то еще. Остается выяснить только одно: допустит ли Валькина мать, чтобы Джо зимовал в теплой компании коз, в торчащей посреди огорода времянке. Он готов ей, как женщине, угодить: выносить со двора мусор, чистить свинарник, а при случае и деревянный, в самом конце огорода, нужник. Но она, вот ведь баба, хочет, чтобы он вскопал ей огород, не паханную до самой реки целину, с трехметровой высоты бурьяном, и Джо скребет под пышной африканой затылок... В конце концов, если взяться за дело прямо сейчас, пока еще лето, можно к зиме и успеть... то есть как-нибудь дотянуть до февраля, а там уж и копать ничего не надо. Живя среди русских, Джо понял: главное – никуда не спешить. Не брать на себя раньше времени никаких перед соседней Европой обязательств, пусть те покуда сами маются со своими летучими финансовыми кризисами, мы этого даже и не заметим. Мы –   
то есть нефть и газ. И хотя Джо ни разу не видал сырой нефти, а газ нюхал только на кухне, под сковородкой, ему, негру, кажется, что это и есть опознавательный знак России и одновременно знак ее качества: горючее, которое горит. Горит, кстати, по всему миру, хотя повсюду и становится все более и более прохладно. Джо опасается даже, что вот-вот наступит новое обледенение и все ломанутся в Африку, и придется неграм тоже начинать работать... Хотя, кто знает, может, лучше уйти всем черным составом в пираты, купить вскладчину старую моторку и пару «калашниковых» и качать с проезжающих мимо туристов миллионы долларов, жизнь ведь дороже кошелька. А можно, что надо делать уже сегодня, возить мусульманам, направо и налево, руду для реакторов, авось с помощью Аллаха разберутся. А можно... тут Джо закрывает от удовольствия черные, с красноватыми белками, глаза... можно свезти всех белых, которые только загремели в Африку, баб под один красный фонарь. Да, но пока... пока придется вскапывать этот проклятый, до самого Дона, огород.

Весть об этом мгновенно распространяется по деревне: негр пашет. Такого в деревне не случалось лет уже пятьдесят, с тех пор, как вымерли последние родственники расстрелянных когда-то кулаков. На огородах, правда, копаются по-прежнему толстые, неповоротливые старухи, втыкая в жирный чернозем лук-севок и картофельную мелочь, сажая тыквы и капусту, помидоры и укроп, и все это ради того, чтобы дотянуть до следующей весны, доставая из погреба «свое». Им никогда не приходило в голову, если даже она у кого-то и была, нанять своего же старика, обычно с утра пьяного, а под вечер бодрого, и старухи перво-наперво решили разузнать, какого этот негр пола, и поскольку бабенки в деревне шарахались от него, как от паровоза, старухи разом заключили, что этот, слава тебе господи, не мужик.

Одна бабенка, впрочем, семнадцатилетняя соседка Катька, с ними была несогласна: стоило ей приставить стремянку к вымахавшей на три метра груше и сверкнуть толстыми, под короткой юбкой, ляжками, как негр тут же бросил лопату и ломанулся к забору, со всеми своими чудовищными мускулами, торчащей во все стороны африканой и похотливо банановой улыбкой на фиолетово-черных губах. Перемахнув через сетку, он стряхнул с дерева все груши, и Катька рухнула вместе со стремянкой на клубничную грядку, надеясь и тут на его помощь.

Копая с раннего утра огород, Джо натыкается то там, то тут на птичьи гнезда, трогать которые электрик ему не разрешает: тут остаются зимовать куропатки. Часть из них отстреливает на охоте Борисыч, остальные же мирно дополняют собой спокойный и неяркий донской пейзаж. На болоте, представляющем собой просторную, заросшую камышами и осокой заводь, плавают среди кувшинок дикие утки, а раз даже поселилась цапля, но Борисыч тайком пристрелил ее, уж очень была собою хороша. К этому болоту Джо боится даже подходить, втайне подозревая, что там водятся крокодилы, и когда среди ночи оттуда доносятся внезапно усиливающиеся выскочившей из-за облаков луной суматошные трели лягушек, он думает, лежа на надувном матрасе, что кто-то, увы, съеден. Как-то в обеденный перерыв, принеся Джо кастрюльку супа, накрытую тарелкой с макаронами, Валькина мать останавливается возле кучи выкорчеванных вместе с огромными комьями земли сорняков и, упершись веснушчатыми руками в широкие, под фартуком, бока, пытливо спрашивает:

– А что, в Африке по-прежнему едят еще людей?

Это она, видно, к тому, чтобы Джо с аппетитом пообедал, хотя смазанные кетчупом макароны были без мяса, а в супе плавал один лишь лавровый лист. Джо пялится, раз она такое спросила, на ее круглые   
коленки и крепкие икры, обвивает мимоходом, одним только вскипевшим взглядом, пока еще не расплывшуюся талию и тихо, как только и могут звучать самые искренние, задушевные признания, шепчет:

– Ну, это смотря где...

Ответ его никоим образом Валькину мать не удовлетворяет, она привыкла у себя на «скорой» либо колоть пациента, либо везти его в морг, а тут этот бесхозный негр морочит ей голову. Случай был явно из тех, когда надо колоть, когда даже врач, и тот не сомневается: в морг пока не повезем. И вся, какая только была зелень и голубизна в прищуре ее глаз, оказывается вмиг всаженной в широкую переносицу негра, так что у него самого сыплются из глаз осколки стекла... как, стерва, посмотрела! Подойдя к Джо почти вплотную и едва не упершись ему в живот своей туго обтянутой фартуком грудью, она спрашивает грозно и напрямик:

– А меня бы в твоей африканской деревне съели?

С опаской попятившись от нее и чуть не наступив в тарелку с макаронами, Джо собирает всю свою честность и, едва от нее же не задохнувшись, бормочет:

– Думаю, что да.

Пристально, с наклоном головы, на него глянув, Валькина мать удовлетворенно кивает: теперь все стало на свои места, этот людоед сказал наконец правду. Пусть хотя бы здесь, в Донском, хотя бы один в мире негр – пашет! А то ведь, кто только не помогает медленно, но верно вымирающей Африке, кто только не шлет туда норковые шубы и вязаные носки, словно там у них нет и в помине никакого лета. Вся беда в том, что как раз лета у них в избытке, и негры не знают, что с ним делать, и каждый из них охотно променяет теплые деньки на лютый мороз, была бы только дармовая ушанка. Кстати, негр в ушанке – это не бредовая выдумка расиста, не извращенная фантазия шизофреника, это – гримаса заспанной с похмелья Европы, ее демократическая отрыжка. И пусть кто-то всерьез полагает, что все люди рождаются *равными,* строя на этом высосанном, срамно сказать, откуда, «равенстве» ловушки самим же себе, негр, даже названный африканцем, все равно черен, и этот черный цвет является цветом его личности. И чтобы эту хитрую штуку отбелить, сделать ее розово-персиковой, как распустившийся в мае цветок, надо пройти тот же путь, что остался позади у русского или немца: путь долгого и тяжкого труда над собой. Так копай же, Джо, этот проклятый огород!

Глядя ей вслед, Джо не верит, что дело тут лишь в бабском любопытстве, которое, как показывает его двадцатидвухлетний жизненный опыт, есть черта интернациональная, а значит, общечеловеческая. И когда после обеда к нему подъезжает на мопеде электрик, Джо не знает, как ему быть: вдруг да прогонит из козьей времянки... И принимается копать за троих, а может, за шестерых.

Электрик подходит не спеша, явно держа что-то на уме, и принимается молча смотреть, как выкорчевываются из чернозема десятикилограммовые глыбы с корнями пырея и крапивы, как рушит лопата синеголовник, донник и шалфей, и на его загорелом лице медлит, обещая вот-вот вспыхнуть, самодовольная хозяйская улыбка. Он так ничего и не сказал, и Джо на всякий случай благодарит его за обед, в особенности за кетчуп, добавив, тут же об этом пожалев, соображение насчет макарон: от них местные бабы толстеют, как поросята... Электрик охотно с этим соглашается, пояснив Джо, как приезжему и как негру, что толстая баба есть признак нерушимости семьи.

– На досках я належусь и после смерти, – резонно добавляет он.

Отрезать хряку яйца – это не только быстрота и сноровка, это искусство, если не сказать, магия. Магия абсолютной над жизнью власти. Попробуй, представь себе, что на месте хряка оказывается твой родной дедушка, и тебе сразу становится ясно: дело вовсе не в висящих под хвостом архитектурных излишествах, но в самом принципе всесильности смерти на фоне ничтожности жизни. Если подумать только, честно отпустив мысли на свободу, почему они, мысли, вообще застревают у человека в мозгу, то окажется, что держит их в пределах черепной коробки разлагающаяся материя нервов: мысль вспыхивает, нерв сгорает. Да, но чтобы эта мысль вспыхнула... кто подносит спичку? Свинье недосуг, да и не к чему разбираться в этой мировой алхимии, но если когда-нибудь ей, свинье, засветит что-то человеческое, она, пожалуй, представит себе окружающий мир в виде простой, но впечатляющей картины: стерильная операционная, она жа камера пыток, белые халаты, инструменты; жертва, привязанная к вивисекторскому столу, безнадежно смотрит в потолок, и оттуда на нее пялится выжигающий всякие сомнения прожектор: сейчас! Лица вокруг стола сплошь типичные: железный робот в квадратных очках, перепуганный насмерть, но вожделеющий к чужой пролитой крови иезуит, исполнительная склеротичная тетка с наркозом, тупой академический обрубок с куцей профессорской бородкой, какой-то идиот с галстуком-бабочкой; у каждого в руке острый нож, кто-то уже всадил острие в пах лежащего на столе, другой метит, прищурясь, в глаз, тетка с наркозом режет не спеша по живому... Таково, быть может, свинское воображение, оно же и подсказывает лаконичное название картины: кастрация. Навеки кастрированная жизнь, вот о чем грезит в своих кропотливых изысканиях смерть. Отрабатывая на свиньях свою нехитрую технику, вершиной которой неизбежно становится *генномодифицированная свинья*, смерть только посмеивается над доверчивой наивностью жизни: ведь это все во имя жизни!

Всякий раз, бросая отхваченные у хряка яйца в побитую с боков алюминиевую кастрюлю – сварят вместе с пшенкой для собак – Борисыч ощущает полноту своей, в целом удавшейся жизни. И удалась она именно потому, что на каждом своем повороте и этапе, в каждой своей потайной комнатушке пускает вперед себя смерть: смерть расчищает дорогу, экономит на большом и малом и всегда платит наличными. С жизнью же обстоит дело иначе: с ней надо беспрерывно возиться, уговаривая ее на то и на это, а главное, самому быть живым, то есть способным дышать и хотеть, вбирая в себя муки и вожделения других. Как раз от этого и надо по возможности устраняться, и с этим у Бориса Бессмертного все в порядке, и жить ему поэтому еще не надоело. Конечно, есть вещи, которые его беспрестанно раздражают: чье-то восхищение розовым, как мальва, закатом, невинный писк ласточек, режущих крыльями не принадлежащий им воздух, заунывное и лихое пение баб вечером на лавочке, вид купающихся нагишом детей, ржание лошадей в ночи... Он бы с удовольствием все это отменил, но не хватает пока ни у кого на это власти. Вот и приходится собирать по жизни крохи: то отхватить хряку яйца, то перестрелять на болоте весь утиный выводок... Да, голова у Борисыча на плечах, и умный – он и в Америке такой. Кстати, он туда вовсе и не собирается: кому он там будет резать яйца?

От кастрированного хряка электрик обещает Борисычу свежую грудинку, а когда придет очередь резать Белку, речь пойдет о парной вырезке... да, качественный труд должен хорошо оплачиваться. Чтобы было потом что вспомнить, когда душа наконец оставит в покое надоевшее ей тело: сколько качественных убийств! Расстрелять в упор загнанную косулю, наслаждаясь трепетом ее смертельного страха и последним в жизни протестом, а потом... вырезать из теплой еще груди большое, живое пока еще сердце и швырнуть собаке! Правда, не каждая собака имеет к этому аппетит, но выдрессировать кобеля или суку всегда можно. Как-то раз, в чрезвычайно благоприятный для охоты год, Борисыч отстрелял вместе с приятелями десяток косуль, и сердец набралось целое ведро... об этом наверняка вспомнит после смерти душа, хе-хе. Впрочем, мир идет к тому, чтобы обходиться без каких бы то ни было о душе беспокойств: мир совершенно разумного и притом цивилизованного человека. Мир, у которого голова на плечах. И уже сегодня тянет из будущего человеческим перегноем, над которым возводит свои мосты в никуда твое вожделение к материи...

Под вечер потянуло откуда-то гарью. Сначала думали, горит что-то на складах винзавода, но повисшее вдали черное облако двигалось со стороны соснового леса, постепенно затягивая панораму заката зыбким пепельным покрывалом. Пожар был далеко, и никого это особенно не беспокоило, да и горел-то, судя по всему, лес, он же ничейный. Однако запах гари становится навязчивым, в воздухе чувствуется привкус пепла, поэтому, несмотря на духоту и жару, многие закрывают и зашторивают на ночь окна. Валька лежит под простыней, с храпящим скотчем в ногах, и думает, что пожар, похоже, настоящий, и время от времени из зыбкой ночной тишины доносится тревожное и возмущенное ржание Наташкиной лошади. Должно быть, лошади известно больше, чем людям, но никто у нее совета не спрашивает. И Валька решил, как только будет светать, сходить в конюшню и выяснить, глядя лошади в глаза, стоит ли чего опасаться.

Он сидит днем у реки и смотрит на резвящихся в воде мальков. Отец построил на берегу, в просвете между деревьями, маленькую пристань с ведущими к ней вниз деревянными ступенями, а вместо поручней приладил изогнутую верхушку березового ствола; на деревянной площадке, сухой и горячей в полдень, можно сидеть или лежать, слушая тихий говор течения и дразнящие вскрики трясогузок. Дно возле пристани песчаное и такое светлое, что солнце, пронизывая насквозь толщу воды, отражается в нем, как в зеркале, делая песок лимонно-желтым, а оставленные течением дюны – оранжевыми. Эта игра воды и света настолько завороживает Вальку, что, сам не зная почему, он смеется, мысленно целуя сияющие золотом солнечные блики. Он чувствует, еще не зная, что это за чувство, что переживает значительный в своей жизни миг: теперь он заодно с совершенной и удивительной, таинственной красотой мира. Словно какой-то, куда более значительный, чем его отец, Отец обнимает его в этот миг и прижимает к своей широкой груди, и в этом блаженстве узнавания своего с Ним родства Валька впервые ощущает свою в этом мире значительность. Теперь-то, теперь он знает наверняка: он в этом мире не одинок!

В школе его этому не учат: смотреть по сторонам с особым вниманием испытателя, желающего узнать, что там, за видимой гранью вещей. В школе учат решать задачи, по Валькиному мнению, бессмысленные и не стоящие того, чтобы над ними думать: где-то срывается с места, без всякой на то причины, скорый поезд и прет навстречу точно такому же обезумевшему скорому поезду, и притом по одноколейке, и вопрос в том, когда они встретятся. И дело вовсе не в нахождении того или иного ответа, но в самой нелепости этого занятия, раз и навсегда отвращающего ум от более стоящего применения. Эта очевидная нелепость во всем, от подхалимских родительских собраний до стойкого убеждения учительницы в том, что ученик должен непременно все *понимать*, покрывает дурацкое намерение школы загодя, пока еще только меняются у человека зубы, а голова полна грез, сделать его непригодным для самостоятельных шагов. Вон куда идут все, видишь? И ты иди туда же, по тем же пробитым в черноземе колеям. И это кажется Вальке смертельно скучным. Он уверен, не зная, откуда у него эта уверенность, что каждый приходит в жизнь со своим раскладом намерений и сил, и если от всех требовать одно и то же, никто никогда никуда и не придет, оставаясь вечным, и притом посредственным, учеником. Впрочем, и тут можно найти к свободе лазейку: слушать не скучного, пропахшего педсоветами учителя, но... своего собственного ангела! Валька уверен, что ангел где-то тут, поблизости, и никогда никуда не отлучается, сияя у Вальки над головой своими радужными крыльями. Бывает, Валька обнаруживает во сне, что ангел занят работой: рисует и рисует... и что он такое рисует, пока не понять; но сон становится от этих ангельских картин душистым и сладким, как мед диких пчел.

Мальки растут в прозрачной речной воде, питаясь больше солнечным светом, чем оброненными крошками хлеба, порой среди них скользнет, поближе к дну, подросшая рыба, с зеленовато-серебристыми и красноватыми плавниками, и тут же улизнет в глубину, в тайны течения. По обе стороны маленькой пристани колышутся, как чьи-то волосы на ветру, темно-зеленые водоросли и ложатся верхушками по течению, блаженствуя на солнце. Чуть дальше, вдоль берега, полно-  
властно разросся тростник, дразня трясогузок невесомыми злаковыми кисточками, и вымахавший на два метра ирис ликует на солнце желтизной своих однодневок-цветов, и одуревшие от жары стрекозы стукаются своими круглоглазыми головами о Валькино плечо... Лето! Время, когда ты сам являешь собой часть природы, тесно сходясь с ней. На траве еще не просохла утренняя роса, и можно слизнуть каплю-другую, зажмурившись от внезапно нахлынувшего счастья, и когда-нибудь потом... ах, потом искать у этого счастья оправдание перед своей по нему тоской. Валька внезапно оборачивается: к нему подбегают сзади две тонконогие борзые. «Наташка, – тут же с радостью думает он, – ищет меня!» Впрочем, он не слишком уверен, что именно его, но думать об этом ему приятно.

Обе собаки, эти избалованные диванные куклы, не прочь искупаться и беспокойно носятся теперь вдоль берега, на лету задевая своими невесомыми, как у бабочки, телами головки клевера и ромашек. И Валька, проникаясь их утренней радостью, прыгает «солдатиком» с деревянной площадки и, угодив пятками о дно, оборачивается к ним и машет рукой, но борзые, внезапно замерев, только уставились на него своими мечтательными палевыми глазами, будто выспрашивая, с чего это он ими командует. И тут он видит Наташку, танцующую, словно лесная фея, на протоптанной в траве тропинке. Она скачет вприпрыжку и вертится на месте, готовая вот-вот унестись следом за теплым ветром, под парусом своих медных волос, на другой берег. Она думает, что одна тут, и не стесняется поэтому ни своего, в такт прыжкам, визга, ни едва прикрытой бикини наготы.

Валька никогда раньше не думал о том, что девчонки могут быть голыми. Он часто смотрит на одноклассниц, и многие, ах, почти все!.. ему нравятся, даже те, кто не нравится никому. Ведь в каждой из них есть что-то свое, пока еще не отнятое ни родителями, ни учительницей, и в каждом последующем классе этого своего становится все меньше и меньше, и Валька предполагает даже, что скоро для многих их них наступит смерть... ну, конечно, они будут продолжать туда-сюда бегать и даже, может, сами обзаведутся детьми, но тем не менее... Незаметно подобравшись к деревянной площадке, он рывком выскакивает из воды и, весь мокрый, становится перед Наташкой во весь свой небольшой пока рост. В первое мгновение она, все еще продолжая жить в своем танце, непонимающе пялится на него, словно перед нею возникло выросшее прямо из гущи водорослей чудо, ведь вырастают же за ночь грибы-дождевики. И уже в следующий миг оба, глядя друг на друга, принимаются хохотать, озадачив тем самым борзых, тут же поджавших голые хвосты.

– У тебя на голове тина, – сквозь смех замечает Наташка, – тебе это очень идет!

Усевшись рядом на деревянной площадке, они принимаются смотреть на мальков. Солнце, поднимаясь к полудню, сильно уже припекает, и от Наташкиных плеч, покрытых крепким речным загаром, пахнет смородиной, клубникой и вишней. Ее маленькие, округлые ступни тоже покрыты загаром, ведь ходит она все лето босиком, а на коленках полно царапин. Ей, как и Вальке, поручают кормить кур и уток, и под ногтями у нее всегда остается темная полоска.

– Хочешь, – от полноты внезапно охватившей его радости, предлагает Валька, – я поймаю тебе лягушку? Она вон там, под листом кувшинки, прячется в тени...

Не дожидаясь ответа, он соскальзывает с площадки в воду и тут же приплывает обратно с пустыми руками, но Наташку это не расстраивает, тем более что и лягушка ничего от этого не потеряла. Собаки без конца пьют из реки, едва ступив в воду своими тонкими, голыми лапами, и Наташка, хитро глянув на Вальку, хватает одну из них за уши, как хватают кроликов, и принимается окунать, туда и обратно, с головой, и, выпустив, хватает за уши другую... Осмелев от этого принудительного купания, борзые прыгают разом с площадки в самую гущу мальков, мгновенно их распугав, и от их плеска из зарослей тростника вылетает дикая утка и, обойдя полукругом средину реки, скрывается в камышах. И если напрячь хорошенько слух, можно уловить не только жужжание пчел и шмелей, стрекот кузнечиков и тонкий шелест камыша: сквозь это слышна еще и другая, несравненно более проникновенная музыка, и она не затихает ни на миг. Глянув сбоку на Наташку – может, и она это слышит, – Валька внезапно принимает решение: объявить всему миру, этой реке и плывущему по течению листу, трясогузкам, кузнечикам и прячущимся в камышах уткам, дрожащим после купания борзым и ликующим на солнце малькам, что сейчас, в этот миг, он чувствует в себе любовь! И от этого все в мире становится понятным, все становится на свои места. Рывком поднявшись, он бежит вверх по деревянным ступеням, туда, где только что танцевала на луговой тропинке Наташка: сколько тут ромашек! Они сияют, как маленькие солнца, кивая друг другу, и неповоротливая зеленая златка светится, как изумрудная брошь, в желтой середине цветка, презрев свою короткую жизнь ради многотысячного потомства. Сорвать одну... и эту, и ту... и ромашек не становится на лугу меньше, и все они словно только того и ждут: быть кому-то подаренными. Валька несется вниз по деревянным ступеням и швыряет на колени Наташке целую охапку, успев при этом задеть ладонью ее нагретые солнцем волосы – его обожгло от одного этого прикосновения. Она тут же принимается плести венок и надевает его, как корону, на отливающие медью волосы, и река уносит в своем течении, неизвестно куда, золото и медь, золото и медь... Нагнувшись к севшему рядом с ней Вальке и щекотнув его висок ореолом венка, Наташка таинственно шепчет ему на ухо:

– Я собираюсь стать ветеринаром... лошадиным врачом...

Сказав это, она тут же смущается, словно выболтав никому пока не предназначенное, торопливо встает и зовет борзых, и те бегут уже впереди нее по тропинке, и только венок из ромашек сверкает, удаляясь, на солнце...

По-прежнему сидя на площадке, Валька мысленно повторяет Наташкины слова: «...лошадиным врачом...», и что-то в них отзывается на его собственные мысли о будущем, то есть о том отдаленном времени, когда ему стукнет шестнадцать... двадцать шесть... И ему кажется теперь, под этим полуденным, жгущем спину и плечи солнцем, что за шестнадцатью и двадцатью шестью годами есть какое-то многообещающее продолжение, и он заранее этому благодарен, как бы там оно на самом деле не складывалось. Это новое для него чувство благодарности, он переполнен им, словно раздувшийся парус ветром, и кому-то надо об этом сказать... или оставить это себе? Разве ты сам не становишься от этого обрушившегося на тебя богатства отдельным от других... одиноким? Становишься подставленной солнцу чашей, которую тебе же потом и нести, и еще неизвестно, куда... Куда приходит в конце концов каждый? Не к самому ли себе, одиноко смотрящему на воду, бегущую прочь?

Поблизости мычат в ожидании полуденной дойки коровы, и Валька думает о Белочке: она по-прежнему дает каждый день восемнадцать литров молока, наверняка при этом зная, что скоро ее зарежут. И ему становится так за нее обидно, за всю несправедливость ее коровьей судьбы, что он смахивает с нагретой солнцем щеки слезу, и хорошо, что никто этого не видит. «Стану коровьим доктором!» – внезапно решает он.

– Коровьим доктором! – кричит он, глядя на другой берег реки, где спит под ивовым кустом пьяный с утра рыбак, и река невозмутимо катит дальше свое золотое течение.

Внезапно Валька чует, ничего пока не видя и не слыша, что кто-то подходит к нему сзади. Резко, словно настороженный зверек, обернувшись, он видит на Наташкиной тропинке соседку Катьку. В туго обтягивающем мощные ляжки белом трико и ажурной майке с широким вырезом, с выпирающими из него тяжелыми грудями, она идет не спеша, заранее зная, что никуда от нее самое важное не уйдет. Кто-то, может, и засомневается, оценивая ее исключительные габариты: не годится ли вся эта тяжесть и масса для изнурительных земляных, строительных и прочих мужских работ? Но все имеющиеся у Катьки семнадцать лет говорят о другом: побольше косметики и презервативов.

Не спеша подойдя к деревянной площадке, Катька некоторое время стоит, привалившись к гнутым березовым перилам, словно оценивая ситуацию, и только когда Валька снова на нее глянул – о чем он тут же и пожалел, – присаживается рядом с ним. Подвинувшись, насколько позволяет площадка, Валька мысленно командует себе: досчитать до двадцати, а потом... Но не успевает он досчитать и до семи, как Катька обхватывает его своими мясистыми ручищами, и ее густо накрашенные губы умело отыскивают его рот, а язык настырно и жадно проталкивается сквозь преграду его зубов.

– Я научу тебя... – басовито гудит она ему в ухо, – это же так просто...

Но Валька только крепче сжимает зубы: зря она, зараза, так думает. Катька втрое сильнее его, и мысль об этом в первый момент совершенно подавляет его, тем более что ее рука рвет на его изношенных шортах ветхую молнию... зараза!

– Ты такой сладенький, – басит ему в ухо Катька, – беленький, голубоглазенький ангелочек! Давай же я научу тебя!

Валька вертит, как может, головой, извивается всем своим легким, пока еще бесполым телом, бьет затылком ей в нос... и еще раз, и только тогда Катька отпускает его. Кровь течет по ее подбородку, капает на деревянную площадку, растекаясь на солнце темным пятном, и Катька с удивлением, еще не сознавая боли, таращится на Вальку: чего это он так? Придется отстирывать белую майку, а то и выбрасывать. Зачерпнув пригоршню воды, Валька швыряет ее Катьке в лицо и бежит вверх по ступенькам, бежит на луг... Он никогда раньше не бил девчонок, но Катька ведь... какая она девчонка, ей следовало бы родиться отбойным молотком или шагающим экскаватором. Впрочем, он помнит ее, когда сам был во втором классе, совсем не такой: истощенной до обморока худышкой, не способной съесть даже школьную булку с сосиской, всегда сонной и хмурой, не интересующейся ни одной вещью в мире. Она царапала себе до крови руки и ноги, живот и спину, пуская в ход не только отросшие ногти, но также булавки и бритвы, часто приходя в школу с перебинтованными до локтей руками и даже не пытаясь это скрыть. «Самоистязание, – сказала как-то учительница, – тут ничего уже не поделаешь». Да, она истязала себя, стремясь тем самым хоть как-то отвлечься от раздирающей ее изнутри, не затихающей даже во сне боли; но боль эта, вбуравленная в самую сердцевину Катькиного существа, если и отступала, то лишь на миг, чтобы затем вернуться с новой силой, требуя для своего утоления еще более сильные средства. На какое-то время таким болеутоляющим средством стала для Катьки еда: на нее внезапно обрушивались такие приступы голода, что она ела все подряд, что только находила на кухне, не замечая ни вкуса, ни запаха, а потом бежала в туалет, и ее рвало. Она стала поэтому наедаться впрок, когда никто ее не видел, быстро прибавляя в весе. Но утихшие было муки хлынули через эту временную плотину, как только у Катьки начались месячные: голод ее стал другим, еще более ненасытным. Перележав со всеми, кто был в деревне до этого охоч, Катька вовсе не искала себе, как другие, мужа или хотя бы сожителя, ее влекло одно только *унижение*, которому подвергались, сами того не ведая, мужчины: все они вожделели только к *мясу*. Это *унижение другого* и стало главной Катькиной пищей. Живя через забор от Вальки, она часто смотрела на плечистого тридцатисемилетнего электрика, и тот хоть бы раз на нее глянул, даже здороваясь с ней, и это наводило Катьку на подозрение в какой-то непонятной неуязвимости соседа, его полном безразличии к «мясному», его вегетарианской *верности* своей, со скорой помощи, медсестре. Откуда она, верность, вообще берется? Все как один, с которыми лежала Катька, мужики могли бы поклясться в верности только своему блуду, молодые и старые, которые «ничего» и которые «так себе», и даже Борисыч, при своей седине и завидном на деревне уме, и тот предпочел давно протухшему долгу порядочности – спрашивается, долгу перед кем? – бесстыдную возню в кустах.

Прибежав домой, Валька долго сидел в своей комнатушке, с тревогой прислушиваясь, не спрашивает ли кто его; он был уверен, что от Катьки просто так не отвяжешься. Но привычные мирные звуки двора – тявканье Бени и басовитый лай Брюса, кудахтанье, кряканье, хрюканье – быстро его успокоили, так что ему уже стало стыдно своего перед толстухой страха. «Вот возьму, – задиристо думает он, выглядывая в коридор, – и забросаю ее через забор гнилыми сливами!» Все до одной сливы он собирает для свиней, так же как и упавшие червивые яблоки, а осенью на огороде вздуваются среди бурьяна такие огромные тыквы, что их приходится сначала разрезать на части, а потом уже тащить в свинарник. Подумав о кастрированном недавно хряке, Валька идет на кухню и накладывает полную миску оставленной для него самого молочной овсяной каши.

Снова пришел Борисыч, на этот раз без собак, и хряк, едва почуяв его, забился в самый темный и вонючий угол и сидел там, пока тот не ушел.

– Ну что, поедешь со мной на охоту? – игриво спрашивает он у Вальки, заранее зная, что тот давно уже об этом мечтает. – В городе на водохранилище поселились черные утки, их там несколько штук, надо только подойти на плоскодонке к камышам, и грести будешь ты, пока я буду целиться. Ну как?

Валька решительно кивает, будучи при этом в сомнении: какие такие черные утки?.. зачем их стрелять?.. Но согласие его уже получено, Борисыч удовлетворенно треплет его по плечу, слегка ущипнув за щеку: скоро поедем.

Черные утки завелись, к большому изумлению Вальки, неподалеку от пляжа и окружавших его многоэтажек, на отвратительно замусоренном берегу водохранилища, давно уже превратившегося в большое вонючее болото, куда сливаются стоки нескольких заводов, а также канализации. В одном месте, неподалеку от химзавода, стоки такие горячие, что даже зимой, в двадцатипятиградусный мороз, над водой стоят густые клубы пара, а жители ближних домов считают это место курортным, а купание целебным. Черные утки были, видимо, того же мнения, поселившись именно тут, неподалеку от домов, хотя и в надежном от посторонних укрытии: среди густо разросшегося, оплетенного диким плющом, камыша. Летом они беспечно плавают туда-сюда на виду у купающихся, то и дело ныряя и сверкая на солнце оранжево-красными лапами, и клювы у них тоже красные, а шея намного длиннее, чем у обычных уток, так что в их осанке есть что-то горделивое, лебединое. Зимой же, вопреки законам природы и благодаря теплому, с химзавода, течению, утки никуда не улетают, оставаясь при своих спрятанных в камыше гнездах, и, выходя из воды на снег, сверкают оранжево-красно-черным, словно флаги неизвестной державы.

– Да, но зачем же их отстреливать?.. – исподлобья глянув на Борисыча, интересуется Валька.

– Дурак, – благодушно замечает Борисыч, – они же такие красивые! Я думаю набить пару чучел.

– Разве чучело красивее живой утки? И потом...

– Ничего ты в жизни еще не понимаешь, – перебивает его Борисыч, –   
и ты нескоро это поймешь: смерть гораздо надежнее жизни. Смерть... –   
тут Борисыч задумывается, – …универсальна! Чучела я поставлю по обе стороны телевизора, чтобы смотреть на то и на другое. Значит, едем?

Вскинув на Борисыча пристальный зелено-голубой взгляд, Валька, не отводя глаз, кивает:

– Едем.

Минздрав предупреждает тоже оказался в охотничьей компании, хорошо зная свои обязанности спаниеля: буксировать подстреленную утку к лодке. Сотовая связь же, ввиду своего интересного положения, осталась в темной прихожей, ждать и скулить от обиды: один только вид двухстволки будит в ней охотничью прыть.

Пока Борисыч надувает резиновую лодку, Валька прохаживается вдоль берега, по замусоренному окурками, пивными банками, старыми пакетами, пластиковыми бутылками и всякой другой дрянью песку, и ему неохота даже разуться, ступать босиком по этой мусорке, и он пока еще в большом сомнении относительно уток: вряд ли какая-то птица решится тут жить. Тут могут жить только люди. Они смотрят из своих высокоэтажных окон на искусственный, намытый водокачкой пляж, не видя при этом ни воды, ни песка, ни даже тени обступивших этот пляж унылых строений: они видят лишь свою скуку и пустоту. Будь это совсем не так, они давно бы уже убрали весь этот, загадивший песок, мусор... и если бы только песок! Возле самого берега на воде покачиваются те же пивные банки, разорванные коробки, бумага, куски пенопласта... да тут настоящая свалка! Должно быть, собравшись искупаться, обитатели домов сначала разгребают себе «заливчик», и уж потом, зажмурившись, бросаются в тепленькую, застоявшуюся воду. Да и сама эта вода... тут Валька с отвращением принюхивается: гнилая, сплошь покрытая зеленой пленкой ряски. Внезапно он видит на поверхности какое-то необычное движение: что-то живое плавает туда-сюда, высунув из воды небольшую круглую голову. «Крыса, – думает Валька, – а может, какая-то нутрия...» Осторожно, чтобы не спугнуть зверька, он подходит к самой воде и присматривается: животное ходит по поверхности кругами, а точнее, нанизанными друг на друга восьмерками, оставляя среди зелени не сразу затягиваемый ряской след. По этим следам можно прикинуть пройденное таким образом расстояние, что составило бы за день несколько километров. И когда животное, гонимое какой-то своей непонятной нуждой, приближается на мелководье к самым Валькиным ногам, он в страхе отскакивает от воды: это же... рыба! Ее пятнисто-коричневая спинка с торчащим плавником целиком видна на поверхности, и только хвост еще работает в воде, с видимыми усилиями, а открытый рот жадно хватает воздух. Эта рыба умирает. Должно быть, в ее торчащей на поверхности голове, уже отданной солнцу и суховею, доживает последнее в этой ее рыбьей жизни возмущение: люди могут переселиться отсюда черт знает куда, а рыбе куда податься?.. она ведь вся тут, в этой луже, когда-то бывшей вполне приличной рекой и к тому же притоком Дона. «Но что же с ней делать?.. – изнемогая от жалости, растерянно думает Валька и тут же деловито решает: – Отвезу ее на Дон, только бы дожила до вечера...» Когда проезжали с Борисычем по мосту плотины, отделяющей городское болото от живого пока еще Дона, Валька ужаснулся самому виду этого дьявольского сооружения: сплошной тюремный частокол. Кто-то озадачил же строителей этим умопомрачительным предприятием... ясное дело, Сатана, хотя строили, конечно, во имя светлого будущего. Валька уверен, хотя учительница точно поставила бы ему по истории кол, что наряду с разными большими начальниками и остальными выдающимися недоумками колесо истории вертят черти, в свою, разумеется, сторону. Да, но что же делать с рыбой...

Лодка надута, и первый прыгает в нее Минздрав предупреждает, смахнув висячими ушами зацепившуюся за весло ряску. Давай, Валька, за весла! Теперь остается только найти утиное место, и у Борисыча с собой бинокль. Сначала идут вдоль берега, хлюпая веслами по зеленой жиже, но ближе к камышам останавливаются, благо что никакого течения в луже нет, и Борисыч прилипает глазом к биноклю... но первый замечает утку Валька. Угольно-черная, с красным клювом и вертикально поставленной шеей, она неспешно плывет, ничего плохого для себя не ожидая, слегка покачиваясь на поверхности стоячей воды. Валька смотрит на нее с восхищением, вмиг забыв, зачем они тут, и Борисыч наконец тоже видит ее и тут же берет ружье, и вместе с выстрелом в воду плюхается Минздрав предупреждает, и быстро возвращается вплавь с добычей. «Вот оно, значит, как... – растерянно глядя на обмякшее тело птицы, думает Валька. – Да, но зачем?» Они идут дальше вдоль камышей, то и дело зарываясь в самую их гущу, но уток больше не видно. Не оставляя ни на минуту весел, Валька косится на лежащую возле его ног добычу, и стеклянный красный глаз сердито следит за каждым его движением, а из алого клюва медленно капает на дно плоскодонки густеющая уже кровь. «Может, она еще живая...» – пытается он обмануть себя, налегая на весла. Он порядком уже устал, да и время перевалило далеко за полдень, пора уже было съесть хлеб с салом, завернутый матерью в салфетку. Подумав о еде, Валька чувствует вдруг такой голод, что едва не бросает на ходу весла. Но его возвращает к делу неожиданный выстрел Борисыча. Минздрав предупреждает тут же прыгает в воду и плывет наугад, еще не зная, где добыча, и тут грохает второй выстрел, и с собакой что-то происходит... неужели ошибка, непоправимая ошибка?! Гребя изо всех сил в сторону Минздрава, Валька задыхается, в глазах у него прыгают красные черти, в ушах стучит, как на спортивном финише, сердце. Собака плавает среди ряски и кровавых пятен, и только глянув наконец на Борисыча, Валька понимает, что произошло: тот едва заметно усмехается плотно сжатым под седыми усами ртом.

– Ты... – еще не отдышавшись и не замечая, что говорит «ты» такому важному дядьке, набрасывается на него Валька, – паскудное старое дерьмо! Вонючий брехун! Крысиная блевотина!

Вскочив на ноги, он выхватывает из рук Борисыча двухстволку и с размаху швыряет ее в воду, туда, где плавает еще среди ряски труп Минздрава. Оторопело на него глянув, Борисыч еще не понимает, что произошло, и только вяло мямлит:

– Кобель уже старый, его усыплять стоит пять тысяч, да и хоронить потом где-то надо... Но мое ружье! Твой отец заплатит мне! Заплатит!

К берегу идут в мрачном молчании, Борисыч гребет сам, не глядя на Вальку. И только когда уже сели в машину, Борисыч указывает рукой на застылую зеленую жижу и четко, как учительница на уроке, говорит:

– Смотри, Валька, это и есть твое будущее! Это затянутое ряской гнилое болото! Это и есть Россия!

Глянув на замусоренный берег, Валька видит мертвую, уже облепленную мухами, рыбу.

Думать о будущем – занятие само по себе напрасное, если при этом согласиться с непоколебимым, как кремлевская стена, мнением о том, что сам ты зажат между рождением и смертью и нет тебе больше никуда хода. Мнение это, впрочем, складывается из еще более прочных, не пробиваемых никакими сомнениями убеждений в нерушимой двойственности этого проклятого мира, в котором добро неизбежно помножается на зло. При этом зло выбирает для своего благоденствия низы, добро же взвивается в небеса, назло, между прочим, злу. В промежутке же между ними, куда следовало бы поместить что-то третье, держащее в узде низ и верх, обычно ничего не находят, и на этом пустом месте зло назначает добру тайные свидания.Тайна этих интимных встреч состоит в том, что добро снимает наконец с себя ангельские одежды и смотрит на себя в зеркало: ну чем оно, добро, не зло? Любуясь собой, добро кичится своей недосягаемой высотой, своими крылатыми словами, своей горячей страстностью и пылом самовозгорания, не забывая при этом, что земля тут ни при чем и что пора бы уже привыкнуть к бесполезности и бесплодности красивых поз и положенных на рельсы голов. «Мы ведь с тобой одного пошиба, – интимно нашептывает добро злу, – мы только сюда командированы, в мир наживы и пустых мечтаний, и мы презираем этот мир как недоразумение... Слышишь? Это поют в нашу честь государственные и прочие гимны. Поют стоя, не шелохнувшись, с серьезным выражениям давно угасших лиц. При этом... – тут добро панибратски подмигивает злу, – никто не сомневается, что именно я и есть добро, никто пока еще не пронюхал причин нашего с тобой сожительства, и мы хоть и тянем, каждый в свою сторону, но цель-то у нас одна: оставить середину по-прежнему пустой».

В этой таинственной середине, куда нет-нет да и заглянет ненадолго солнце, происходят порой удивительные вещи: здесь преодолевается смерть. Валька понял это, глядя на убитую черную утку, на застывшую возле берега мертвую рыбу: в нем самом, в самой горячей его глубине, птица и рыба по-прежнему живы. Они стали частью его самого, и он стал от этого только богаче, и в нем появилась уверенность в *будущем*. Скорее всего, дело обстоит так, что весь этот свежий, утренний, росистый, солнечный, цветущий и плачущий мир рано или поздно попросит у него, Вальки, приюта. И надо быть для этого достаточно широким и глубоким, достаточно вместительным. Не заученный в школе урок, но *переживание* своей полноты, своей достаточности для самого себя, это и есть то *обучение*, ради которого каждый взрослеет. На какой-то миг Валька и в самом деле чувствует себя взрослым... ах, сколько на него сразу наваливается серьезности! И ему кажется в это мгновение, что он не один, даже когда рядом никого нет: к нему склоняется своей сияющей диадемой солнечный ангел.

Да, но будущее... Оно обещает уже сегодня полное и окончательное разбирательство с бедностью и нуждой, оно манит к себе не только благосостоянием, но совершенной уже ненужностью согревать свои мысли тяжким трудом сердца, оно гарантирует абсолютное, как у нового трактора, здоровье. От этого будущего пахнет искусственной черной икрой и нефтяным дезодорантом, и нет в нем никакого намека на несогласие с засильем законов механики. Но самое, пожалуй, главное, оно исключает, это хорошо обустроенное будущее, *сознательное* переживание смерти: в нем не остается больше контраста между небытием и обледенением медленного умирания.

Дымные облака на горизонте кажутся теперь ближе. Никто пока не опасается пожара, но стали на всякий случай набирать воду, в садовые баки, ванны и ведра, а на ближних к тополиным посадкам дворах держат скотину взаперти, и козы тревожно блеют из-за высоких, залатанных жестью заборов.

Ближе остальных к тополиным посадкам стоит дом Евдокии Андреевны, выходя огородом на заросший донником пустырь, где лежа пасется теперь, неохотно поднимаясь на ноги, Белочка. Рядом привязывают черно-белую пугливую телку, которая, хоть мать и рядом, то и дело настойчиво мычит, принюхиваясь к задымленному воздуху. Витьке поручено смотреть за Белочкой в окно, чтобы та, не дай бог, не собралась вдруг по собственной воле умереть, испортив тем самым качество говядины, и Витька время от времени пялится на пустырь, не замечая, впрочем, ни коров, ни разросшегося на солнце донника, ни темного облака на горизонте. Вот уже четвертый день он трезв, а потому растерзан и подавлен неуютной никчемностью окружающего мира: куда ни глянь, мерзость и пустота, а если подумать о себе, то хочется только одного – повеситься. От кого-то он слышал, что есть, оказывается, на земле хорошие страны, где мужики женятся на мужиках и даже венчаются в церкви, у таких же, как они сами, мужеложных попов, и все это прилично и по закону. Но страны эти от Донского, увы, не близко, и хода туда просто так нет... да и есть ли они вообще, тоже вопрос. Уставясь на пустырь, над которым буйствует жаркий ураганный ветер, пригибающий к земле стебли отцветающего шалфея и высыхающего репейника, Витька вспоминает вдруг, как к нему в первый раз пристал приезжий армяшка: одурачил, а денег, как обещал, не дал ни копейки. Но уже в следующий раз, тем же самым летом, Витька потребовал деньги вперед, получив к тому же старый, со стертыми кнопками, мобильник, который он тут же уступил соседу за две бутылки местного самогона. И когда мать, узнав, в чем дело, стеганула его, тогда еще подростка, коровьим кнутом, он понял, что с ним что-то не так, что он, возможно, урод и недоносок, а может, и еще хуже. С тем он и отбыл четыре года спустя в армию, а вернувшись, увидел, что незачем ему было и возвращаться. Один раз, впрочем, на похоронах отца, умершего незаметно и тихо, словно тайком, Витька обнаружил странную в своей жизни пробоину: не было такого человека, скотины или вещи, которые бы он любил. Он терпел возле себя мать, с ее строгим коровьим распорядком, нисколько не интересуясь ее заботами и склочно торгуясь с ней из-за вырученных за молоко, сметану и творог рублей. И мать, чуя в нем безнадежный холод, вековые и вечные льды, застылую пустыню безразличия и скуки, только плотно сжимала тонкие губы и тайком, наедине с коровами, вздыхала и крестилась, и те, понимая ее без слов, лизали ее пахнущие молоком руки.

Между тремя и четырьмя часами, в самое пекло, солнце внезапно ушло в пригнанную ветром тучу, словно нырнув в глубокий омут, оставив небо неестественно пустым, как в послезакатных сумерках. Коровы тревожно поднимают на пустыре голову, раздувают влажные ноздри, протяжно мычат. Мать уехала в город, и Витька вовсе не собирается один возиться со скотиной. Выйдя на веранду, он смотрит на оставшуюся возле собачьей будки цепь и пустую миску, зевает и... так и остается стоять с открытым ртом: в верхушках тополиных посадок бушует на ветру пламя. Огонь прилетел, как какое-то проклятье, по воздуху, и ветер, разносчик несчастья, только усиливается, заметая последние на небе просветы черным покрывалом пепла. Теперь уже слышен треск пожираемых огнем веток, и ветер срывает пляшущие в воздухе языки пламеня и швыряет их на соседние деревья, и вот уже вся полоса тополиных посадок стоит в огне...

Все еще загипнотизированный этим диким зрелищем, Витька докуривает, один за другим, оставленные в пепельнице бычки, не замечая ни мычания коров, ни суматошного движения на улице. Кто-то везет на прицепе легковушки наполненные водой баки, другой катит ведра с водой на тачке... но Витьке нет до этого ни малейшего дела. Что, собственно, изменилось бы в его проклятой жизни, окажись всё Донское в огне? Что было для него в этой жизни ценным? Докурив последний бычок, он нехотя плетется на пустырь и принимается отвязывать Белочку, и когда та, через силу поднявшись на ноги, тут же снова оседает на траву, словно сдувшийся мешок с костями лопаток и ребер, он со всей дури пинает ее в морду, в большой и влажный коровий глаз... Он не замечает, как черно-белая телка выдергивает удерживающий ее на месте столбик, и несется вместе с ним и тянущейся сзади веревкой прочь, посрамляя лошадей резвым коровьим галопом. Ее отсутствие он замечает только в сарае, куда впихивает, матюкаясь, Белочку, но искать по деревне пропажу, да еще в такое дымное время, он вовсе не собирается: набегается, придет сама. И тут он припоминает, что у матери припрятаны где-то две бутылки водки на случай, если Борисыч придет резать корову, и мысль об этом совершенно захватывает его, словно он был уже пьян. Порыскав на кухне, он спускается, едва не сорвавшись с лестницы, в погреб, но ничего не находит и только окончательно озлобливается: вечно мать от него что-то прячет! Пора уже ей, старой, смириться с прихотями сына, тем более что он у нее один. Ему вдруг становится так себя жалко, что к носу бежит соленая слеза, застывая на небритой губе. И он идет в отгороженную от зала комнатушку, где стоит железная, с шишечками, кровать матери, опрятно заправленная тканым покрывалом с торчащим из-под него кружевным краем и кружевными накидками на огромных подушках, и... злобно сдергивает покрывало на пол. Обе подушки тяжело плюхаются на домотканую дорожку, и Витька пинает их ногой, как недавно пнул корове в глаз, и садится в отчаяньи на пол, и вдруг, внезапно о чем-то догадавшись, лезет под кровать... Там! Там возле самой стены стоят обе заветные бутылки. Одну он опорожняет тут же, сидя на полу и даже не замечая ни крепости, ни вкуса, другую берет с собой на кухню, куда плетется, спотыкаясь о стулья и наталкиваясь на стены. Сев за неубранный с обеда стол, он плеснул немного водки в немытый стакан, глотнул и уронил на клеенку усталую голову...

На улице хаос и неразбериха, все, у кого есть машины, возят к тополиным посадкам воду, поливают землю вокруг горящих тополей, но ветер, словно насмехаясь над напрасностью этих усилий, рвет пламя в клочья и швыряет его на крыши домов, и пламя тут же прирастает к резным деревянным карнизам и ставням, и знающие все наперед старухи тащат из домов иконы и, крестясь, голосят:

– Горит Расея синим пламенем!

Оно и вправду синее, это свирепое, в ярости суховея, пламя пожара. Из домов выносят, кто что может, кто телевизор, кто свернутые комом матрасы и одеяла, кто-то застревает в дверях с платяным шкафом, диваном, столом... Скотину гонят, в дыму и панике, на луг, поближе к Дону, и коровы наперебой с козами оповещают сбитых с толку людей: «Горим!»

Пожарные приехать не спешат, горит ведь не только в Донском. И когда рухнула кровля ближайшего к посадкам дома Евдокии Андреевны, многих взяло сомнение: будет ли вообще от кого-то помощь. Это еще больше усиливает панику, многие попросту застревают посреди улицы, стоят и глазеют, как пламя забирает их дома, и мысли теперь у всех одни и те же: «Значит, наказание, тут ничего уже не поделаешь...» И каждый отыскивает у себя хорошо припрятанные прегрешения, а то и преступления, и втайне умоляет строгого молчаливого Бога сказать хоть слово... но тот отмалчивается. Из сарая молочницы слышится отчаянное мычание Белочки, но никто не двигается с места: спасать скотину, когда своя шкура горит?

Валька едет в машине с отцом, и оба мрачно серьезны: достанет огонь их дом или нет. Дом бабушки, правда, стоит далеко от посадок, но ветер... Воздух теперь пересыщен гарью, на лицах черным слоем лежит копоть. Увидев горящий дом Евдокии Андреевны, Валька упрашивает отца остановиться. Зачерпнув двумя ведрами воду из бака на заднем сиденье, он бежит, обливая себе водой ноги, к сараю. Пламя схватило уже стены, внутри полно дыма, и Валька, ливанув воду на порог, ныряет наобум в темноту, и тут же наталкивается на затихшую уже корову. Она так и не смогла подняться на ноги.

Тополя стоят обугленными черными рядами, указуя в небо своей несостоявшейся вертикалью. Они будут стоять так не один год, пока кому-то не придет в голову, что жить в соседстве с этим кладбищем невозможно, и тогда их повалят и бросят гнить где-нибудь поблизости, в овраге, куда стекается весной талая вода.

Эти черные, на фоне задымленного неба, знаки будущего. И оно не такое уж и далекое, стоит только отвлечься от неудобств смотреть еще дальше... смотреть на самого себя. Разве это не самая великая в мире работа? Ею почти никто, впрочем, не занят.

Из соседнего села приехал батюшка, навести в угорелых головах, а заодно и в природе, порядок. Он приехал на несусветно дорогом черном «мерседесе», с высоко торчащим над кабиной золоченым крестом, и многие тут же на это крест стали молиться, осеняя себя торопливыми, пугливыми, почти воровскими движениями сжатых в щепоть пальцев. Батюшка совсем еще молод, едва за тридцать, но его черная, холеная, мелко вьющаяся борода говорит о многом: такие бороды просто так, сами собой, не вырастают. Лицо его, несмотря на свежий еще возраст, имеет измученно-желтый цвет, словно внутри у него беспрерывно кипят карбид и сера, а в черных, маслянистых, плаксивых глазах стоит неутолимая тоска и еще более неутолимая, скорее всего, запретная страсть. Но вид дьявольски дорогого черного «мерседеса» убеждает всех в истинности батюшкиного вмешательства в разгул природы, и бабы без всякой на то команды выстраиваются в послушную очередь, намереваясь топать пешком три километра, под защитой и водительством развевающейся на ветру хоругви. И присоседившийся к ним, удравший со двора вместе с цепью Брюс важно идет сбоку, будучи, как собака, предан важному человеческому делу.

Валька хотел было тоже пойти с ними, интересно ведь, куда они так придут, но ненароком глянул батюшке в глаза, когда тот садился уже   
в свой «мерседес». Он глянул на святого отца, как на непонятное пока еще чудо, неизвестно зачем явившееся в толпу толстых, в простых ситцевых платьях, баб. Он глянул, чтобы понять, не долгожданная ли это весть о доме, порядке и чистоте, не обещание ли это защиты от глупости, подлости и вранья. И в батюшкиных черных, как маринованные маслины, глазах вспыхивает еще более маслянистая чернота, обдавая Вальку с ног до головы шипучей смесью подозрительности и ненависти: как смеешь, поганец, на батюшку в упор смотреть! И золотой крест над черной кабиной «мерседеса», и крест на черном габардине рясы сверкают злобным, лязгающим оскалом: как смеешь! И Валька, удивленный тем, что все-таки *смеет*, шагнул было назад, но тут же задрал, как для пощечины, голову, не сводя с батюшки зелено-голубых, прозрачных глаз. И батюшка отводит взгляд и торопливо садится в машину, дабы указать бабам верный до церкви путь.

Огонь становится все более жадным, горит уже вся улица, обдавая жаром и деловитым треском разрушения лимонно-желтое вечернее небо. Садясь в пепельные тучи, солнце вроде бы ничего уже и не значит, уступая хитростям то здесь, то там вспыхивающих фейерверков над крышами догорающих домов. И это уходящее ни с чем солнце кажется Вальке обворованным и непонятым, да просто преданным, если не сказать, осмеянным. Над головами людей, над всем их имуществом властвуют теперь пламя и дым: никто не желает ничего понимать, все только *ждут*. Эта всеобщая очарованность ожиданием! Как будто откуда-то со стороны может в самом деле прийти помощь. А она прийти ниоткуда, кроме как от самих этих людей, не может, но даже если кто-то и понимает это, все равно предпочитает ждать. Да ведь и батюшка так советует: надейтесь и ждите, и Бог вам даст. С этим Валька категорически не согласен, будучи совершенно уверенным в обратном: Бог хочет, чтобы *ему* что-то дали. Ну сколько можно нянчиться с придурками, не желающими умнеть? Сколько можно намекать и подавать знаки, устраивать знамения и даже самому являться и бродить среди людей по земле? У Бога было на это достаточно терпения. Он, может, уже устал, да и возраст... Валька вспоминает о бабушке и хочет тут же ей позвонить, но телефон и так заныл и затрясся у него в руке: она звонит ему сама.

Среди немногих не тронутых огнем домов на улице оказался и дом Борисыча. Сложенный из самодельных арболитовых блоков и покрытый цементной «шубой», дом этот мог в одночасье сгореть, но судьбе недосуг было пока трогать это громоздкое, неуклюже вписанное в остатки вытоптанного сада строение. Внутри дома прохладно и темно, выключены все лампы, и только маленькая свеча освещает на кухне озабоченные лица хозяев, сидящих друг против друга с наскоро приготовленным ужином. Жена Борисыча, долговязая, плоская в груди, с неизменно кислым в любую погоду выражением раз и навсегда застывшего лица, хотя и не старая еще дама, имеет насчет пожара свое твердое мнение, сводящееся к тому, что надо принять меры... немедленно! Надо тушить! Она готова сама стоять ночь напролет с садовым шлангом в руке, целясь вялой струей в дразнящие темноту языки пламени, а если надо, то и залезть на крышу. Эта ее решимость немало смущает Борисыча, и мнение у него на этот счет совсем иное: пожаром надо... пользоваться. И ему приходится долго, едва сдерживая раздражение непонятливостью жены, разъяснять, какая может быть лично ему, а также ей, дуре, польза от случившегося. Недоверчиво уставясь на него выцветшими, как застиранная тряпка, глазами, жена то и дело открывает рот, намереваясь решительно возразить, но в конце концов так и остается сидеть с открытым ртом, забыв о недоеденном ужине: каково, однако, поэтическое воображение!

Принеся из сарая охапку соломы и ворох старых газет, Борисыч лезет по стремянке на чердак и, плеснув на газеты керосином, щелкает зажигалкой. И как только огонь побежал по сухому деревянному полу, а дым начал валить из маленького окошка, Борисыч удовлетворенно спускается вниз и принимается, согласно логике пожара, выносить из дома вещи. Много, правда, вынести ему не удается, и они с женой сидят на спасенном кожаном диване под яблоней, наблюдая, как крыша с болезненным «ахом» рухнула на охваченные огнем стены.

Будучи не в силах что-либо на это сказать, жена только пялится, словно выброшенная на песок рыба, в бессмысленность окружающего ее воздуха, пока наконец из ее плоской груди не вырывается шумный, как гудящее пламя, рев:

– Моя швейная машина!!!

Она получила ее в приданое и с тех давних пор без устали шьет наволочки, пододеяльники, халаты и трусы, тем самым значительно экономя и отвлекаясь от повседневных неистощимых препирательств с мужем. Только теперь до нее по-настоящему доходит: помимо скучного сидения за компьютером в банке, шитье есть главное в ее жизни занятие, да и сама швейная машина, хоть и ножная, не уступает новым, автоматическим...

– Мои наволочки!.. ночные рубашки!.. чехлы для стульев!

Всё это теперь в огне. Скосив холодный рыбий глаз на мужа, она обнаруживает на его свежевыбритом, с короткими седыми усами, одутловатом лице нечто вроде ухмылки: этот мерзавец не ценит ее рукоделия, ее, быть может, единственной в браке радости! И сдерживаемая годами и десятилетиями злоба на мужа – так тебе!.. так!.. так!.. – придает силу ее дряблым рукам, не считаясь ни с хрупкостью золотого, с топазом, перстня, ни с протестующими криками Борисыча, прижимающего платок к расцарапанной в кровь губе.

– Дура, – наконец схватив ее за руки, свистяще шепчет ей в лицо Борисыч, – нам же хорошо заплатят! Накануне-то выборов! И дом как миленькие построят новый! А то ведь пришлось бы делать капитальный ремонт, тут и крыша течет, и трубы все проржавели, и полы везде прогнили...

Дом этот Борисыч купил у проживавшего там алкаша всего-то за миллион, четыре больших комнаты с кухней, кладовками и подвалом. Обои наклеили новые, покрасили пол, но в остальном же все осталось, как при алкаше, никудышным. Была, правда, у Борисыча мысль продать строение за два миллиона, но покупатель пока не нашелся. А тут... пожар!

– Вот увидишь, – увлеченно продолжает Борисыч, – правительство раскошелится! Денег на обустройство дадут, и новенькие срубы понагородят со всеми удобствами! Дело стопроцентно выгодное!

Жена тупо смотрит на него и кивает, он, как всегда, мерзавец, прав. И его правота подкрепляется тем, что и соседние крыши тоже дымятся, и люди на улице, как кажется ей теперь в ее покорной застылости, лезут на крыши с соломой и керосином...

Швейная машина стоит в боковой, с маленьким окошечком, кладовке, где даже в солнечный день бывает темно и постоянно горит заржавевшая трехрожковая люстра. Тот угол дома еще не был охвачен пламенем, и Борисыч, ради одного только внимания к прожившей с ним тридцать лет дуре, соглашается-таки вытащить швейную машину во двор. В самом деле, вещь полезная и достаточно пока дорогая, эта упакованная в деревянный полированный ящик штуковина, хотя и чертовски громоздкая. К тому же для воевавшего в Афганистане, бывшего офицера огонь – сущий пустяк, тем более что кладовка пока и не горит. И видно, сама судьба благоволит к Борисычу: едва он на-  
думал сунуться в горящий дом, как среди кустов бузины появляется   
Валька.

В грязных штанах и разорванной майке, с перепачканным сажей лицом, он со всей серьезностью взрослого мужика требует, чтобы Борисыч шел с ним возить воду, но когда узнает, что тому надо вызволить швейную машину, тут же шмыгает следом за ним в дом. В заваленной вещами кладовке так тесно и к тому же темно, что оба могут лишь на ощупь ухватиться за края скользко полированного ящика, и в ту же минуту на их головы и плечи обваливается с потолка панель, больно ударив, оглушив и прижав обоих к полу. Едва придя в себя под тяжестью плиты, Валька напрягает, как только может, спину и плечи, постепенно высвобождая голову, и рядом с ним ворочается Борисыч, тщетно пытаясь выползти из ловушки.

– Держи, Валечка, еще... еще... – возбужденно бубнит Борисыч, пытаясь ухватиться рукой за край двери. – Держи...

Валька дрожит весь от натуги, воет и пищит, но держит на себе проклятую арболитовую плиту, и нет у него никаких больше сил... но он держит, зная только одно: надо выдержать. Надо выбраться из этой кладовки, уже наполняющейся дымом. Борисычу удается наконец выползти из-под плиты, и Валька едва не оказывается вмиг раздавленным: одна голова только и торчит наружу. Сейчас... сейчас Борисыч приподнимет проклятую плиту, сейчас...

– Да... – суетливо мямлит Борисыч, становясь сначала на четвереньки, а потом поднимаясь у двери во весь рост, – …ничего тут уже не поделаешь... Все равно у тебя нет никакого будущего...

Дым валит из маленького окна кладовки.

На подходе к церкви батюшка вылезает из машины, чтобы поставить баб в строгий ряд и самому взять в руки хоругвь с темным и мертвым ликом святого. Бабы, до этого протопавшие три километра, со своими иконами в заскорузлых от работы руках, покорно ждут команды, смиренно веруя в то, что им за одно только это смирение воздастся уже на пороге церкви. Но, не успев сделать первый, торжественный и просительный шаг, батюшка замечает встрявшего в процессию кобеля. Брюс смотрит в его сторону, высунув от жары язык и панибратски виляя хвостом, выражая всей своей собачьей наружностью крайнюю заинтересованность в успехе предприятия. Такого к себе *доверия* батюшка не встречал даже со стороны исповедующихся у него спонсоров, и это ведь всего-навсего дворовый и беспородный пес! Что подумает Господь, разглядев в задымленной темноте такое вот со скотом... соитие! Наступая себе на подол рясы, батюшка спешит к машине, хватает с сиденья тяжелую трость с позолоченным набалдашником в виде распятия и, грозя ею кобелю, окатывает толпу баб зычным, словно от самого Господа, распоряжением:

– Бейте эту поганую тварь!

Бабы, все до одной толстые и неповоротливые, как-то не сразу соображают, кого надо, во имя Господа, бить, упуская тем самым драгоценное время: мгновенно изменив тактику, Брюс отпрыгивает в сторону и, на ходу хватанув батюшку за полу рясы, несется прочь, унося в зубах клок добротной материи. Ему, кобелю, невдомек, о каком таком Господе бормочет этот бородатый придурок, когда есть одна на всех живущих великая мудрость мира. И эта всепобеждающая, да, эта *веселая* собачья мудрость ведет его обратно в Донское.

Приехала пожарная машина, и сразу к школе: надо спасать прежде всего государственное имущество, люди же пусть подождут, тем более что они и вправду чего-то ждут... Здание школы так себе, хрущевский силикатный кирпич, третьесортный бетон, гнилой линолеум, унылая серость местами облупившейся масляной краски. Дети взрослеют в этом унылом здании уже к тринадцати годам, становясь именно теми, кем видит их мертвая педагогика настырной, как осенняя муха, учительницы: потребителями материальных благ. Сами эти блага, с этикетками «материнского капитала», «вэо», «иномарки» или «работы в офисе», ни в коей мере не касаются личности тринадцатилетнего взрослого, но только взбивают пену пожизненного самомнения, и клочья этой пены висят на дорогих айфонах, ключах от квартир, айподах, проткнутых булавками ушах, носах и татуированных пупках, и бывает, что весь человек оказывается в пене... «Наши ученики», – с гордостью говорит учительница, и гордость тут же уточняет: «Они несут дальше по жизни то, что мы сами так и не сбросили с плеч, да, *нашу* приверженность внешней стороне дела!» Учительница в курсе, что любое «вэо» покупается и продается, и ей поэтому незачем ломать о бараньи лбы копья *радости* учения и *благодарности* познанию: она попросту *выставляет* в журнале оценки. Да, собственно, чему этих охламонов учить, когда все и так уже есть в компьютере.

Осмотрев здание школы со всех сторон, пожарные приступают к делу, и уже через четверть часа асфальтовая площадка перед входом становится большой лужей, в которой плавает, принимая себя за луну, наполовину разбитый фонарь. Пожар *предотвращен*, о чем следует немедленно сообщить... да, сообщить самому президенту, пусть пришлет, если не забудет, пожарный колокол с веревкой, другим ведь присылал. А может, поскольку дело идет к выборам, президент перестроит школу под образцовый свинарник, отапливаемый аж три месяца в году, а учительницу вместе с обучающимися у нее наркоманами и шлюхами принудительно переведет в президентский, из сибирского кедра, трехэтажный особняк с мраморным в сортире полом, позолоченными унитазами и зеркалами на потолке, кто его, президента, знает...

Залив для верности все подвалы, а также туалеты и коридоры, пожарные уезжают досыпать, время идет к полуночи. И когда уже выезжают на дорогу, сливающуюся в кромешной тьме с пшеничными полями, замечают, как горит вдали, за соседним селом, пожарная вышка. Навстречу им бежит скачущим галопом бездомный пес...

Перескочив с разбегу через полутораметровый забор, Брюс ломанулся в кусты крыжовника, а оттуда, весь в колючках, к дымящемуся дому Борисыча. Ему незачем у кого-то дознаваться, в чем тут дело: он теперь один сплошной нюх и чутье. Обежав несколько раз дом, он тычется носом в стену под маленьким окошком кладовки и принимается неистово рыть передними лапами землю... рыть и скулить, то и дело переходя на протяжный лунный вой. Там, за арболитовой стеной, умирает теперь Валька. Куснув от злости бетонный карниз, Брюс приседает на все четыре лапы и прыгает к окошку, вцепляясь налету когтями в край подоконника, и тут же исчезает в дыме и темноте.

В самом конце длинного, как вечность, коридора вспыхивает, словно лопнувшая спираль лампочки, отчаянно манящий знак... и снова кромешная тьма. Хрипя и свистя при каждом вздохе и выдохе, Валька пробует пошевелить кончиками пальцев: жив или уже нет? И когда лицо его обдает жаром влажного собачьего дыхания, а шея оказывается цепко и осторожно зажатой зубастой пастью, он, едва дыша, мысленно улыбается: «Брюс!»

Брюс тащит его вместе с панелью, мало-помалу высвобождая плечи и туловище, к открытой двери. На крыльце, уже охваченном пламенем, пес на миг тормозит, задирает заднюю лапу и презрительно мочится в огонь и потом уже тащит Вальку вниз по ступеням, и дальше, волоком по земле, мимо бездомных теперь уже стульев, шкафов и комодов ... Постепенно отдышавшись, Валька поднимается на ноги и тут же падает на спину Брюса, и снова встает и, покачиваясь, как пьяный, идет вдоль забора...

Бабушка звонит ему уже в который раз: она сидит взаперти, с захлопнувшейся входной дверью, одна, в панике ожидая пожара. Может, она уже и сгорела там, так и не дождавшись помощи... С этой безумной мыслью Валька плетется, как может, на окраину деревни.

Там, на самом краю, где начинаются заросшие полынью пустыри, ветер дует с такой яростной силой, что, кажется, не устоят ни недавно посаженные молодые вишни, ни железная с засовом калитка. С двух сторон дом обсажен виноградом, обвивающим проволоку сплошной зеленой стеной, за которой не видно ни крыльца, ни окон, и только тут, в укрытии, Валька наконец приходит в себя: сколько раз он сидел здесь в тени, на маленькой деревянной скамеечке, слушая, как бабушка моет на кухне посуду, думая о том, что было бы хорошо когда-нибудь сюда переселиться. Стукнув в окно, он видит бледное, бессонное бабушкино лицо, заметив сразу, что она плакала, чего он никак от нее не ожидал. «Раскисла, – сочувственно думает Валька, – старая стала Валентина Сергеевна...» Он уверен в том, что слезы хороши только от раскрошенного лука, в остальном же они – один сплошной обман, будь это даже скупая мужская слеза. Глаз должен смотреть прямо и выносить всякую в жизни картину. Валька сам чуть было не расплакался, когда натолкнулся в сарае на задохнувшуюся в дыму корову, но только размазал по щекам сажу.

Первый прыгает в окно Брюс и тут же принимается шумно лакать из бидончика воду, следом за ним лезет Валька, с удовольствием вдыхая хорошо знакомый запах яблочного компота и жареных пирожков и внезапно догадываясь, что бабушкин дом... никогда не сгорит.

Пройдя в темноте через застекленную веранду, где круглый год зеленеют мирты, юкки и фикусы, Валька придирчиво обходит обе комнаты и коридор и возвращается на кухню, где горит одна только маленькая лампочка над мойкой. Должно быть, Валентина Сергеевна сидит на кухне уже не один час, глядя через окно на алое зарево, на фоне которого скорбно торчат обгорелые стволы тополей. Входная дверь захлопнулась, и замок заклинило, хода через окно, при бабушкином стодвадцатикилограммовом весе, никакого нет, и она сидит теперь за столом, перед сложенными горкой, накануне испеченными пирожками, и думает о скорой смерти. Она ведь неплохо, в свои семьдесят пять, пожила, любила мужа и одна, после его ранней кончины, воспитала дочь, а уж работала как... всю жизнь на полторы ставки в родильном отделении, столько новых людей приняла в мир. В деревне и сейчас к ней идут, если что, но с абортами у нее строго: рожай! Сколько раз пыталась она втолковать местным бабенкам, что человеку, чтобы снова подготовиться к приходу в мир, понадобится по крайней мере несколько сотен лет, а уж как будет мучить его и жечь неутолимая жажда рождения... Бабы, конечно, ни одна этому не верит, нигде про такое не говорится, а если где и пишется, то мало ли что сегодня пишут. Оно ведь и дочь ее тоже, не хотела Вальку рожать, поскольку тот, минуя превентивную химию, все же незаконно пролез в мир, тем самым нарушив баланс безденежья и бездетного секса. Да, Валька очутился в этом не слишком уютном мире *против* воли родителей. Спрашивается тогда, по чьей же воле он сюда явился?

Многие вопросы, неизвестно как и откуда вспыхивающие вдруг в мыслях Вальки, так и остаются висеть в памяти без ответа, словно в расчете на дальние жизненные расстояния, одолеть которые можно лишь в полном сознании. Пока же, на одиннадцатом году жизни, можно только присматриваться и прислушиваться к загорающимся то тут, то там ориентирам, только примеряться к едва вырисовывающимся масштабам. Никто не предлагает Вальке план какого-либо завоевания жизни, оккупации ее зримых высот, высасывания всегда имеющихся у нее привилегий, присвоения ее рангов и знаков отличий. Тем не менее Валька знает наверняка, тая это знание в своей глубине, что ему предстоит многое, и к этому знанию неизменно примешивается беспокойство: а вдруг не предстоит?.. вдруг выгорит в пустых ни о чем мечтаниях?.. станет навозом мелкоторговой наживы?

Учительница в школе не имеет об этом никакого понятия, она *учит* ощупывать вещи, судить по их внешности, заодно отметая малейшее намерение проникнуть взглядом вовнутрь. Валька смотрит, бывает, на тополиный лист и не может никак наглядеться, сам становясь сочным зеленым цветом и прихотливым узором прожилок... он словно создает этот лист заново! Учительница же учит *готовому*, мертвому, и в *этой* школе Вальке нечего делать.

Да, но Валентина Сергеевна... она уверена, что придется звать мужиков, снимать дверь с петель, а весит эта стальная штука полтонны, придется вырезать замок и ставить новый, который стоит еще дороже... и оттого она теперь, не стыдясь Вальки, всхлипывает.

– Расскажи лучше, как я родился, – отламывая полпирожка Брюсу, приказывает ей Валька, – вместо того, чтобы ныть.

– Но что же делать... что же теперь делать... – словно не слыша его слова, хнычет она, – ну прямо жить не хочется!

Сунув вторую половину пирожка Брюсу в зубы, Валька пытливо на нее смотрит, словно вот-вот скажет что-то дельное, и как бы мимоходом замечает:

– Да ничего не делать. Есть ведь такие, бабусь, моменты, когда надо просто *ничего* не делать.

– Откуда ты это знаешь? – вмиг оживившись и изумленно уставившись на него, спрашивает она. – Ты пока только ходишь в четвертый класс, ты...

– Это неважно, – решительно перебивает он ее и, отвернувшись и словно чего-то застеснявшись, говорит в сторону: – И вообще у меня *свой* жизненный опыт.

– Как это свой?

– А так.

Некоторое время они сидят молча, выразительно посматривая друг на друга, и только Брюс попискивает в темноте, чуя запах пожара: где-то поблизости обваливаются крыши домов и бестолково суетятся люди, и если у кого-то и есть теперь надежда на будущее, то выглядит оно, это неизвестное будущее, скупо и уныло.

– И вообще, – возвращается к разговору Валька, – мне кажется, что я был *всегда*. Я это *знаю,* и пусть учительница хоть ставит мне за это двойку!

– Точно поставит, – охотно соглашается Валентина Сергеевна и смеется глубоким, звучным, грудным смехом. – За *это* все получают! Если бы к твоей учихе на урок явился сам Христос Иисус и сказал, что был всегда, она поставила бы его в угол!

– Но ведь Он... – тут Валька переходит на такой тихий шепот, что не услышал бы даже и Брюс, – …Он во мне! Я и есть Он... то есть, конечно, не всегда, но...

Поднявшись, Валентина Сергеевна грузно обходит кухонный стол и чмокает Вальку в щеку, и Брюс, приняв это на свой счет, радостно бьет по полу хвостом.

– …и я хочу все-таки знать, – отстраняясь от этой родственной ласки, настырно продолжает Валька, – откуда я взялся?

– Как, откуда? Из живота! Пупок обрезали, и готово!

– Я не про это, мне важно знать, где я был *до того*.

– Почему это тебе вдруг важно? – задиристо перебивает его Валентина Сергеевна. – На Земле ты по крайней мере не был, отбывая срок между твоей последней смертью и твоим новым рождением, ты странствовал от планеты к планете, побывав, между прочим, на Луне, Марсе, Венере... добравшись аж до Зодиака, и все это ради того, чтобы вернуться на землю чистеньким и окрепшим... то есть, конечно, в меру натворенных тобою глупостей в предыдущей жизни... Хочешь чаю?

– Кофе, – уточняет Валька и строго добавляет: – И не ячменный, но всамделишный, спать я сегодня не собираюсь.

Брюс одобрительно бьет по полу хвостом.

Заварив себе и Вальке кофе – спать, в самом деле, теперь ни к чему – Валентина Сергеевна достает из ящика стола вязание, наполовину готовый носок из распущенной кофты, надевает очки, ловко ухватывает спицы... теперь попробуй за нею угонись. Она вяжет, но думает совсем о другом, да может, совсем и не думает, пускаясь следом за кричащими ей что-то белыми птицами... Они прилетают, когда уже кончаются слова, привлеченные сладкой бездонностью тишины, эти белые *интуиции*, сотканные из никуда не уходящего света. И оттого, может, на губах у нее улыбка, стеснительно стягиваемая сетью мелких морщин: в мире снова покой, а в душе равновесие. Она вяжет эти носки к зиме, и, хотя они уже через неделю порвутся, всунутые в сбитые набок сапоги, ей хочется вплести в незамысловатый узор все летнее, какое только есть, тепло. А то ведь, кто знает, наступит ли следующее лето, по нашим-то неустойчивым временам. Вон в Америке, говорят, лето теперь привозное... и вдруг как раз наше? Она смотрит поверх очков на Вальку:

– Ты-то что думаешь?

– У нас в классе все хотят в Америку, и училка тоже, особенно после того, как нас привили от гриппа...

– И тебя?

– Нет, я не дался, – смущенно признается Валька, – хотя Борисыч говорит, что теперь у меня точно нет никакого будущего... А ты ведь забыла про дверь!

Её лицо мгновенно скисает, рот плаксиво поджимается, спицы тормозят, воткнувшись в недовязанный носок.

– Что же делать теперь... что же делать... – принимается она снова ныть, – через окно мне не выбраться, а горит уже рядом!

Валька идет в коридор, и жаркий ночной ветер распахивает перед ним незапертую дверь...

Дома осталась мать, с Беней, скотчем, курами, гусями, утками, перепелами, свиньями и перепуганным насмерть Джо, которому электрик поручил поливать из шланга крышу – с такой строгостью, что у негра не осталось никаких сомнений: пристрелит, если что не так, и зажарит на костре. Джо думает о потерянном навсегда Монмартре и сгинувшем в никуда Неаполе, и жаркие негритянские слезы катятся по его потным щекам, щекоча суицидным ознобом могучую, как у гориллы, грудь. Даже Катька, хотя у нее и правильный, со стороны ягодиц, взгляд на Африку, не смогла бы уломать гордого своей кровью негра на *равный* с белым человеком труд: *мыслить* и принимать аварийные решения. Самое для негра верное – со всех ног куда-то бежать, пусть даже и не по стадиону, видя впереди огромный голливудский банан... Вспомнив о Катьке, Джо с отвращением бросает на землю шланг и, с опаской оглянувшись на кухонное окно, где только что мелькнуло озабоченное лицо хозяйки, пускается бегом по огороду, к ветхому, из старых досок и кусков жести, забору. Пробравшись в соседский сад, он слышит в темноте странные хлюпающие звуки: кто-то возится под яблоней, невзирая на поздний час и близость пожара. Кровь негра мгновенно вскипает, широкие ноздри раздуваются на потном, круглом лице, мускулы ног и рук напрягаются, как у готовящегося к прыжку орангутанга: с кем это там Катька? В этой тревожной, совершенно чужой и нелепой ночи, средь этих, не понимающих самих себя людей, на этой никчемной, забытой комфортом и благоденствием, опустошаемой огнем земле! Затаившись в кустах малины, Джо слушает, слушает... и его напрягшиеся мускулы дрожат от прошибающих их молний похотливой ненависти: там, под деревом! Ему неважно, с кем возится в темноте Катька, но важно, что она этого хочет, что она хочет именно этого: в этой ее самозабвенной блудливости царит черная магия вуду, замешанная на крови, насилии, смерти и людоедстве. Обмотанную лианами жертву несут на освященное кровью многих других, тайное место в джунглях, и не столько предсмертный секс, сколько ощущение горячей, живой еще крови, пьянит до безумия восьмерых носильщиков, и наконец шестнадцать жадных рук рвут из живого еще тела многометровую пряжу кишок... Дрожа от собственных похотливых, озаренных отсветами пожара фантазий, Джо неотступно следит за Катькой, и, когда та наконец остается в темноте одна, сбивает ее с ног и валит под ту же яблоню. Она ничего пока не понимает и не слишком сопротивляется, и Джо для верности забивает ей рот пригоршнями земли, одновременно находя желаемое, и его рука сдавливает ей горло... и кто-то слащаво зовет в темноте: «Катюша!», и, вполне уже сытый, Джо с безграничным, на какое только способен негр, презрением цедит ей в укушенное ухо: «Кто-то там зовет тебя!», и пинает ее ногой в живот, и снова притягивает к себе, и снова пинает, пинает...

Увидев из окна, что негр куда-то подевался, Валькина мать берется за шланг сама, но воды в нем всего-то капля, да и та вот-вот пропадет, и, взяв два ведра, она идет через дорогу к колонке. С вечера, как начали гореть дома, там выстроилась длинная очередь, все набирали воду, еще не зная толком, для чего, а теперь там ни души, значит, и воды нет. Повернув с пустыми ведрами обратно, она замечает мелькнувшую у забора тень, присматривается... как будто Катька. Дом их, немой и темный, не задет ни одной искрой пожара, хотя ветром посрывало с веревки белье и одна простыня так и осталась висеть на заборе. Но Катька... что-то с ней не так: окоченевшим, застылым шагом она бредет, словно наугад, то и дело приваливаясь к забору... пьяная, видно, шалава.

И почему только одному человеку становится вдруг небезразлична озабоченность другого? Привычный, ставший совершенно незаметным, эгоизм взрывается вдруг беспокойством за другого, как будто это ты сам тащишься в темноте неизвестно куда, предчувствуя, что где-то там впереди – обрыв. Это внезапно заявляющее о себе чувство братства не признает никаких домогательств рассудка: оно всецело принадлежит душе. «Значит, – думаешь ты с изумлением, – у меня *есть* душа!» Это всецело *твой* миг, твое самопознание. Твое, быть может, исцеление от зла.

Оставив ведра возле колонки, Валькина мать идет следом за Катькой в сторону реки, к мосту, в кромешной, освещаемой лишь алым заревом пожара, тьме. Там, на мосту, ни души, лишь ветер гонит течение под широкие бетонные опоры. И вот уже на краю одной из этих громоздких конструкций смутно белеет бесформенным комком Катькина кружевная безрукавка.

– Катюха, – уверенным, как на вызове скорой, голосом зовет Валькина мать. – Это я!

Белое пятно, едва лишь колыхнувшись, тут же снова застывает над водой. Ступив на понтонный мост, Валькина мать чувствует ступнями неотступную силу течения, дрожание стального каркаса под напором воды, лязг, плеск, рокот. Здесь браконьерствует, ставя квадратные сети-ловушки, вся деревня, и каждое лето человек десять-пятнадцать навсегда уходит под воду, в счастливом похмельном плаванье. Так и не дождавшись от Катьки ответа, она перебирается с моста на бетонную опору, стоит, уперши руки в бока, присматривается: ясное дело, Катька пришла топиться. И вроде бы даже всерьез, не для показухи.

– За тобой же вся деревня бегает, – неуклюже скрывая волнение, начинает Валькина мать, – вон сколько мужиков и парней! Идем домой, пока ветром в реку не сдуло!

Не оборачиваясь и даже не пошевелившись, Катька бормочет, глядя вниз, в бурлящую возле бетонных опор воду:

– Я для них что сливная яма, пепельница и мусорка! Никто меня не любит, никто... – и кричит вдруг в ветреную темноту: – Никто меня никогда не любил! Никогда!!!

– А ты сама? – став за ее спиной, наступает на нее Валькина мать. – Кого *ты* любишь? Да ты и не знаешь, что это такое, любовь! И если ты сей момент, при мне, прыгнешь в воду и утопнешь, и черт с тобой, прыгай! Ну, прыгай же!

Массивная спина Катьки вздрагивает, как от удара, голова втягивается в плечи, в горле что-то хлюпает... а под мостом призывно бурлит черная, в задымленной ночи, вода. Эта чужая воля! Безжалостно рвущая и топчущая привычное к бездействию, сонливое самодовольство, эта *воля к поступку* пропахивает теперь глубокую борозду в Катькиной рыхлой и дряблой, источенной обильными и дешевыми лакомствами душе: по одну сторону рутина бледной, невыносливой, обидчивой повседневности, по другую – полная неизвестность. Что может взять с собой Катька из своих семнадцати лет, окунувшись в неизвестное? Увы, ничего. Вот, оказывается, *как* она бедна. Семнадцать напрасно прожитых лет: разложение и гниль, и в конечном счете *старение на пути к смерти.* Только, может, в самом раннем детстве, когда еще так мало *своего* и все приходит от родителей и благоволящей к тебе природы, когда к тебе склонён весь звездный сияющий мир, и бывает еще какое-то в жизни счастье... но оно, увы, не *твое*. Это – счастье появления на земле, долгожданное счастье возвращения, оно тебе только *дается*, дарится, но распоряжаешься этим даром ты сам. Шестнадцать лет назад, сидя в песочнице напротив такой же годовалой девчушки, Катька схватила ее за волосы... она набирала полную банку божьих коровок и бросала туда горящие спички, и один раз замучила так до смерти мышонка... Ей нравилось смотреть, как уходит из живого жизнь, она *прививала* себе жажду неутолимой чужой боли, и эта боль постепенно становилась ее собственной.

– Скотина, и та знает в жратве и похоти строгую меру, – продолжает наступать на нее Валькина мать, – скотина знает порядок! Ты же гнешься и ползаешь перед дьяволом! Зачем ты вообще на свете живешь!

Сказав это, Валькина мать решительно идет прочь, даже не оглянувшись на сгорбленно сидящую на самом краю моста Катьку. Вернувшись к колонке, она берет пустые ведра, смотрит в сторону соседней деревни, слушает: церковный колокол одиноко бьет четыре. Бабы, ушедшие вместе с батюшкой молиться, наверное, уже упросили Бога послать на деревню дождичек: все небо в облаках, похоже, будет гроза. И когда она наконец закрывает за собой калитку, отяжелевшее небо пробивает первый зигзаг молнии, где-то неподалеку испуганно ржет лошадь, в свинарнике тонко пищит поросенок. Нет, не зря бабы поперли следом за батюшкиным «мерседесом».

Ей кажется вдруг, что кто-то стоит у нее за спиной. Электрику пора уже вернуться, тополиные посадки не горят, только дымятся в медленно редеющей темноте. Может быть, Валька? Хотя тот ночует у бабушки... Обернувшись, она видит стоящего в дверях кухни Джо.

– Тебе не сказано было поливать из шланга крышу? – с ходу набрасывается она на него, – Или пожрать пришел? Ну?

Джо молча на нее смотрит и внезапно идет прямо к ней, растопырив по сторонам могучие обезьяньи ручищи. В одно мгновение она мысленно видит себя смятой в этой нечеловеческой хватке, расшибленной об пол... и правая ее рука хватает с плиты чугунную сковородку и трахает ею круглую, под пышной африканой, голову негра: тра-а-а-ахххх!!! Ну вот, теперь он лежит на полу, молча и смирно, лицом в затертый половик, с зашибленным при падении носом. Пощупав пульс, она берет из аптечки пузырек нашатыря, подносит к приплюснутому носу, и Джо неуклюже ворочается, и она замечает под его штанами лужу. Ей известно немало местной, а также блатной матерщины: так, так и так. И еще раз так. И африканская, из смятого носа, кровь подсказывает Джо, что это покрепче заклинаний вуду.

Все еще держа сковородку в руке, она встречает на пороге электрика. Тому смешно, и лужу под негром он вытирает его же, когда-то белой, майкой. И когда Джо поднимается на ноги и кое-как, хватаясь за что попало, выбирается во двор, электрик подталкивает его к калитке и, сунув в карман джинсов недельную зарплату, беззлобно поясняет:

– Зимовать будешь в Африке.

Молнии прорезают предрассветный сумрак, словно запоздалые сигналы бедствия, и ни одной капли дождя пока не упало на алеющие на ветру пепелища. Бабы вернулись наконец, встревоженные больше прежнего: пока шли, уже без батюшки, назад, загорелась водонапорная вышка и... колокольня! Кое-кто ропщет втихаря на батюшку, с его дорогущим «мерседесом», другие винят во всем проклятый ветер. И поскольку согласия никакого между бабами не предвидится, мужики разбирают своих жен по домам, а одиноких посылают к черту.

С наступлением утра выясняется, что полностью выгорели две улицы, Витьку нашли мертвым, а Катьку так и не нашли. Люди стали враз как-то тише, душевнее, скромнее, всего-то за одну ночь. И каждый втайне благодарит прикусившего язык Бога за то, что тот не отнял на этот раз всё, ведь могло быть гораздо хуже. У многих нет над головой крыши, и соседи забирают к себе даже тех, с кем до этого ругались, и между людьми вмиг устанавливается редкостное понимание, то и дело перерастающее в совершенно уже потустороннюю *братскую любовь.* Каждый делится с другим, чем может, и только теперь и выясняется, насколько богата деревня Донское: из погребов и сараев выносят картошку и свинину, молоко и домашний сыр, муку и гречку, топленое масло и мед, не говоря уже о маринованных огурцах, томатах, баклажанах и перцах, обильно произрастающих на огородах наравне с капустой, кукурузой и редькой. Делятся одеждой, мылом, стиральным порошком, спичками, солью, а у кого есть деньги, тот только того и желает, чтобы у него попросили взаймы. Устраиваются во времянках, сараях, курятниках и просто под брезентовыми навесами, ложатся спать впритык и не жалуются на тесноту, и ни у кого не возникает даже мысли о воровстве или блуде.

Это счастливое братское единение царит в Донском ровно три дня, пока не приезжает на «мерседесе» батюшка и не объявляет, теперь уже не только бабам, но и всем остальным, что правительство, дай ему Бог еще больше власти, постановило дать каждому погорельцу по двадцать тысяч и построить новый дом. Еще батюшка говорит, что деньги эти Божьи и никто не смеет поэтому их себе прикарманивать, с чем втайне соглашаются далеко не все.

Весть о постройке новых домов, и притом до наступления холодов, в одно мгновение сметает трогательно братские настроения, возвращая полюбивших было друг друга соседей к привычной зависти и подозрительности. Те, у кого сгорел дом, ходят теперь победителями, в надежде на то, что батюшка не сбрехнул; те же, кому не повезло с пожаром, чувствуют себя настолько обделенными, что готовы задним числом спалить налаженное в течение многих лет хозяйство. Раздор еще более усиливается, когда первые погорельцы получают, согласно алфавитному порядку, половину от обещанных двадцати тысяч: Донское разделяется на два ненавидящих друг друга лагеря.

Среди тех, кто оказался обделенным случаем, не жалуется на судьбу один только электрик, продолжая, теперь уже без Джо, обустраивать двор и свинарник. Одного хряка пришлось зарезать: надо чем-то кормить гостей, Борисыча и его занудную, то и дело впадающую в истерику жену. Разместившись в самой большой комнате, в «зале», они не скрывают ни своей удовлетворенности грядущим новосельем, ни своей презрительной брезгливости к этому вынужденному постою: теснота, вонь из свинарника, грязь с огорода. Свинина, и та оказалась жесткой и почти несъедобной, словно хряк назло кастрировавшему его мучителю отравил себя напрасными мечтами о мести. И Борисыч, кое-как обгладывая жареную грудинку, косится на Вальку: сболтнул тот отцу про кладовку или нет. Валька как будто на Борисыча и не злится, смотрит пытливо и спокойно, почти равнодушно, словно на какую-то лабораторную крысу или просто пятно на стене, а если изредка и заговаривает с ним, то непременно с какой-то, как кажется Борисычу, вызывающе-наплевательской самоуверенностью. И то, что остается между ними двумя тайной, неприятно щекочет уверенность Борисыча в данных ему жизнью привилегиях: так ли уж высок его статус писателя, так ли авторитетно его, Бориса Бессмертного, поэтическое слово. И он знает, что не так... ах, не так!.. но другим этого знать не полагается. Другим не подобает с ним, Бессмертным, спорить. Или, как сказал бы, пожалуй, батюшка: спорить с нами не благословляется. Он посматривает тайком на Вальку, когда тот чем-то занят: понял ли Валька тогда, в кладовке, придавленный потолочной плитой, что *должен* был умереть?

На исходе августа стоит еще жара, на лугу доцветают синеголовники и донник, коровы лежат на солнечном пригорке, и среди них черно-белая телочка, единственная теперь радость Евдокии Андреевны. Ее дом начали отстраивать первым, из толстых сосновых бревен, с высоким крыльцом, и завистливые соседи уже шепчутся между собой, что приведет она себе из города мужика. И пока они так сплетничают, она зовет обратно сына Витьку, с его теперь уже ангельских высот, не очень-то, впрочем, надеясь, что ангелы на его стороне... Зовет его домой.

Обретая в полдень цвет неба, река становится то густо-синей, то сверкающе золотой, с плывущей по течению желтой листвой берез и пугливой тенью стоящих по берегам плакучих ив. Сидя на песке на коровьем пляже, Валька думает о парусной лодке, на которой можно доплыть до Америки, и брать с собой он никого пока не хочет: придется ведь смотреть по сторонам глазами другого! Или все-таки взять Наташку? Он не видел ее уже целый месяц, она теперь где-то на Черном море, и может быть, даже в Турции. Дом ее вместе с конюшней остался цел, хотя соседний двор выгорел полностью, и Валька специально ходит мимо, туда-сюда, но никто его не окликает. Он смотрит порой на рыжую лошадь сквозь щели забора, видит, как Наташкин отец ставит перед ней ящик с вымытой морковью, как она не спеша ест, потом пьет из ведра, и ему становится жалко уходящее уже лето. Ведь с этим летом что-то ушло от Вальки навсегда, и он никак не может понять, что именно, и на пустом, сразу остывшем месте ничего пока не светит, только предчувствуется новый, незнакомый жар... Он смотрит на желтоватое дно реки, на скользящие по нему тени мелкой рыбешки, смотрит на свои босые ступни, с набившейся между пальцами глинистой пылью, мысленно отдавая свое несильное пока еще тело последнему августовскому теплу и тем высвобождаясь из своих сиюминутных нежеланий-желаний   
и улетая... улетая в согретую внутренним теперь уже жаром зиму. Он хочет, еще не смея себе в этом признаться, сам командовать своим воспитанием, не дожидаясь подсказки учительницы или советов телевизора, он не нуждается в хромающих на каждом шагу авторитетных мнениях, в мнении, например, Борисыча... Так вот, значит, что с ним летом произошло: от него ушла наивность. И это так тягостно, так печально: лишиться *веры* в хорошее-взрослое. И кто же теперь на его стороне, в этот холодеющий миг первого в жизни одиночества? Он смотрит на воду, словно течение вот-вот обнаружит перед ним тайну своего бега: *всё* течет. И нет поэтому границы между жизнью и смертью, нет никакого отсутствия, надо лишь видеть... смотреть... И даже если в твое одиночество не заглядывает ни один человек, ты можешь обнять весь мир – в себе самом! Да что там, только ты и можешь обогреть этот весьма уже охладевший, на грани обледенения, мир, ты сам. И нет тебе в этом деле никаких помощников. Потому что огонь твой вечен, огонь *любви*.

Солнце садится, заливая весь луг пламенно-розовым, пурпурным и малиново-алым, и отставший от коров пастух перебирает про себя имена ушедших с земли и когда-то его знавших, и на его темном, морщинистом лице вспыхивает на миг и тут же гаснет радостное удивление, и пастух успевает только подумать: «Радость...» Он догоняет коров и отчаянно матерится, и коровы не спеша мочатся, поставив вопросительными знаками хвосты: они-то своего пастуха знают.

В самом конце огорода, куда зачастили шляться куры, Валькина мать обнаруживает сложенную пирамидой кучу яиц, под кустом разросшейся ивы. Какие мерзавки! Теперь все куры сидят под арестом, под строгим присмотром петуха, но новости с огорода оказываются еще более шокирующими: по плетям еще не убранных кормовых тыкв тащится, спотыкаясь на каждом шагу, Катька.

Ее искали где только могли, и местный участковый, несмотря на полученную от ее родителей взятку, так и не дознался, как обещал, куда подевался по крайней мере Катькин труп. И хорошо, впрочем, что не дознался: у родителей оставалась хоть какая-то надежда.

Но самой Катьке вряд ли было до них дело: в ту задымленную ночь она добралась пешком до окраины города и села на рассвете в электричку, без малейших планов на будущее и без денег, с одной лишь панической мыслью: исчезнуть навсегда. С одной электрички она пересаживалась на другую, пока не добралась до Москвы, где ночевала несколько раз на вокзале, пока к ней не пристал приличного вида немолодой уже дядя. Для начала он сводил ее в привокзальный ресторан и заказал роскошный, с учетом многодневной голодовки, обед, проглоченный Катькой без малейшего ощущения вкуса. Сам он ничего не ел, только смотрел, как Катька *жрет*, лишь изредка кивая кому-то или самому себе. Вдобавок он купил ей пару носок, зонтик и мягкую плюшевую собачку, и все это молча, словно Катька приходилась ему надоевшей уже племянницей или внучкой. И хотя ей было ох, как страшно –   
заведет, изнасилует, зарежет и съест, – она поехала с ним на такси, поднялась в лифте на третий этаж, вошла в просторную, хорошо пахнувшую квартиру, и, когда он щелкнул замком, до нее наконец дошло: теперь она никакая больше не Катька, но просто *товар*, без названия и без знака качества, ширпотреб на продажу. Она дрожала всю ночь под пуховым, в батистовом пододеяльнике, одеялом, прислушиваясь к звукам квартиры, где ничего, ровным счетом ничего не происходило. И, когда утром он деликатно постучал в дверь и позвал пить кофе, она набралась храбрости и спросила его напрямик: чего ему от нее надо. И он, словно только того и ждал, просительно и скромно пояснил: «Хочу, чтобы ты вернулась к маме и папе».

Увидев Валькину мать, копающую на огороде репу, Катька замирает, пятится назад, словно та все еще бранит ее на ветреном, среди ночи, мосту, и обе некоторое время смотрят друг на друга, настороженно и недоверчиво, и расстояние между ними могло бы еще развести обеих по своим путям... но нет, теперь уже поздно: глянув на изуродованные, в безобразных, кровоточащих порезах, Катькины руки, Валькина мать решительно шагнула ей навстречу.

– Это я сама... – с ходу пускается в объяснения Катька, – бритвой...

Она украла эту бритву в павильоне, вместе с флаконом одеколона, но руки у нее так распухли, что приходится вот... обратиться к медсестре. От кисти до локтя и выше, почти до плеча, руки сплошь исполосованы, многие порезы гноятся.

– И как, помогает? – с клокочущей в звонком голосе насмешливой яростью, интересуется Валькина мать. – Отвлекает внимание от *главной* боли?

На осунувшемся, но все еще круглом лице Катьки застывает безнадежная мука: кто бы знал, каково ей выносить саму себя! Нет, никто в мире этого не понимает! Ресницы над ее чуть выпуклыми голубыми глазами дрогнули и, глядя на Валькину мать сквозь слезы, Катька прохлюпывает одним только носом:

– Не помога-а-а-ает!!!

Уже на кухне, перебинтовав Катькины руки до самых плеч, Валькина мать замечает вскользь, мимоходом:

– Есть *одно* средство.

Она произносит это с такой значительностью, что сомнений никаких быть не может: такое средство *есть*. И сколько бы оно ни стоило, это средство от саморастерзания, где бы и как ни пришлось его доставать, пусть даже и незаконно, его следует приобрести немедленно! Сейчас!

Уставившись на Валькину мать голубыми, по-детски круглыми глазами, Катька напряженно глотает слюну и, не сморгнув, хрипловато спрашивает:

– Какое?

– Вскопаешь мне огород до самой реки.

– То есть... это как?

– Лопатой.

Некоторое время Катька молча соображает: либо медсестра смеется над ней, либо... да пошла она вон куда!

– Тебе надо, ты и копай, – презрительно выплевывает она и идет вон из кухни. За дверью она наталкивается на Борисыча, едва не сбив его с ног: он стоит и подслушивает. Он разнесет теперь, этот продажный сплетник и потаскун, по всей деревне, как Катька сдуру режет себе бритвой руки. И тут она припоминает, как он дал ей сто рублей, как он пояснил тогда, «на мыло», и это после того, как сам, старый урод, нагадил, не сняв даже штанов, и она с внезапной злобой пихает его к стене, и ее забинтованный локоть упирается ему в шею... так можно, пожалуй, и придушить...

– Правильно, Катюша, нечего тебе на огороде делать, – заискивающе бормочет он, отступая вдоль стены, – только фигуру испортишь!

– Тебя как будто, паскуда, спрашивают, – еще больше злится она, –   
вот возьму и назло тебе вскопаю! Понял? Вскопаю весь огород! Где лопата? Лопату!!!

Она копает весь день, не прося ни воды, ни обеда, словно в этом и впрямь состоит ее спасение, яростно круша неподатливые комья чернозема вместе с корнями пырея, крапивой и крысиными гнездами, вытирая время от времени слезы черной от пыли повязкой. И только под вечер, когда от разрытой земли стали подниматься тучи комаров, она наконец сдается и, не сказав Валькиной матери ни слова, идет домой. На следующее утро она снова приходит, и снова Борисыч подслушивает кухонный разговор.

– Котлован копать будем? – теперь уже деловито интересуется Катька. – Воды в нем будет во-о-о-о сколько! Болото просохнет, а по воде пущай ходють утки... разные там птицы... – названий птиц Катька не знает, даром что учитель поставил ей по биологии трояк. – От котлована проведем канавки, как... – тут Катька запнулась, припоминая какую-то географическую хрень, – …как в Голландии, во! Знаешь, какие у них там коровы?

– Какие? – интересуется Валькина мать, наваливая Катьке тарелку макарон и поливая их кетчупом.

– Счастливые... – мечтательно замечает Катька и шумно вздыхает.

– Скотине не возбраняется хотеть одного только счастья, на то она и скотина: поел-поспал, размножился. Но тебе-то ведь надо что-то еще? Или как?

Катька недоверчиво на нее смотрит: о чем это она? Вчера, например, перед тем, как заснуть, она напрочь позабыла о своих расчесах и порезах, а сегодня сунула бритву вместе с одеколоном в мусорку, и у нее к тому же пропал бешеный, какой бывал раньше, аппетит: что-то медленно и натужно сдвигается в ней с места. Но *что*?

– Мне надо... – Катька отодвигает тарелку, смотрит, ни мигая, в стену, – надо разобраться. А вообще-то... – неожиданно сверкнув спрятанной в глубине глаз радостной синевой, признается она, – я думаю завести стадо овец и делать сыр... настоящую донскую брынзу! А шерсть, само собой, на варежки-шапки...

– …валенки, свитера, – кивает Валькина мать, боясь спугнуть улыбкой эту новую Катькину прыть, – и заведи еще ламу, у нее не только шерсть, но и меткий в цель плевок!

От рыжей лошади валит пар, мокрые после купания бока лоснятся на полуденном сентябрьском солнце, и нет на лугу такого простора, с которым смирилась бы теперь ее молодая прыть: через сухие заросли синеголовника и репейника, мимо кустов ивняка и орешника... Осадив лошадь возле одиноко торчащей посреди луга дикой груши, Наташка рвет ей и себе сладкую коричневую мелочь, набивает грушами висящую через седло сумку. В сумке у нее кое-что для Вальки, ну, что ли, подарок, и она поэтому зорко его высматривает, пуская рыжую то вдоль берега Дона, то напрямик к ближним домам. Она не видела пожара, и ей не очень-то верится, что все это натворила по своему произволу природа: сначала сухое, без дождей, лето, потом вдруг лесные пожары... Всё дурное в природе происходит, по мнению Наташки, от глупости самих людей, а глупость у них – от лени. Почему, например, не *поливать* эти бескрайние, до самого горизонта, поля? Как поливают у себя в огороде редиску. Качай воду из Дона, вон ее сколько, вся она снова вернется в реку. И почему только взрослым не приходит в их взрослую голову ни одной полезной мысли! Взрослые, думает Наташка, только *верят* в свой жизненный опыт, на деле так ничему в жизни и не научившись... не все, конечно, нет. Вот ведь и отец скоро подарит ей рыжую... Она была с отцом в питерской Новой Голландии, и он тогда сказал: вот он, лохотрон будущего, с его дешевой показухой, удовлетворяющей лишь дебила. Скоро ведь настанет время, когда *разрушение жизни*, со всеми его массово-порнографическими, экономически-нефтяными, культурно-мыльными, самолюбиво-эгоистическими и в целом мусорными интересами, обретет такие масштабы, что некому будет задаваться вопросом о смысле происходящего. И может ведь получиться так, что одна только Наташка, с этой своей рыжей лошадью, и окажется интересующейся и вопрошающей... что тогда? Как выжить, когда ты один в пустыне? Но ведь выживали же люди раньше, один, два, несколько... да много ведь и не надо. А сколько, кстати, *надо*? Сколько людей могут донести на себе землю до ее нового космического рождения? Земли ведь когда-то не было, значит, когда-нибудь и не будет, но то, что было *до*, продолжится в том, что станет *после*, и эту непрерывность скрепляют наступающие время от времени катастрофы. Какой будет следующая катастрофа? Останутся ли после нее на свете такие вот рыжие лошади? Наташка гладит бархатную, с белым продольным пятном, переносицу, и лошадь косит на нее из-под длинных ресниц умным карим глазом: ей, скотине, понятна эта человеческая озабоченность. И Наташка думает, хотя в школе ее этому не учат, что вся, какая только есть в мире, живность *произошла от человека*, овладев той или иной его чертой, тогда как сам человек есть энциклопедия *всех* животных видов: птицы и льва, червяка и обезьяны, амебы и жирафа... Но там, где животное увязает в кровном родстве и наследственности своего вида, там человек отказывается от принципа крови, становится от нее *свободным*, становится *духом*.И Наташка знает это не из Библии, которую, не сломав себе голову и не вывернув языка, не прочитаешь, но из своей потаенной, радостной и бесстрашной самости: «Я и есть будущее!»

Взобравшись верхом на пригорок, она смотрит на неубранные еще пепелища, кучи обгорелого строительного мусора, штабеля недавно завезенных бревен и поднимающиеся уже новые стены. Выгоревшие улицы решили переименовать, теперь это Пожарная и Новорусская, и старая почтальонша пока еще путает адреса. Наташка несется вместе с рыжей на окраину деревни, где привязаны к столбикам козы, и на высохшем, вымоченном сентябрьскими дождями пустыре видит наконец Вальку... но вот уже и не видит, он проскочил мимо на велосипеде... только осеннее солнце, только простор... И Наташка несется дальше, навстречу своим, тревожным и дерзким, опережающим ее разумение мыслям...

Пустые слова о счастье. На них вскармливаются сегодня миллионы людей, ими удобряется похоть и лень. Сказать, что счастлив тот, ктоперебирает руками эту землю, ползая по ней на коленях? Никто этого сегодня не говорит. Сердце, будь оно в разладе с душой, застынет и сдастся, уступая мертвой механике рассудка, именующего сердце «мотором». А оно ведь, сердце, никакой не мотор, но... что-то вроде термометра, как думает Наташка, что-то вроде наблюдающего за порядком глаза. Ведь стоит только подумать о чем-то плохом, и сразу: тук-тук-тук... Поэтому счастье определяется не снаружи, но изнутри, со стороны сердца. То, к чему призывает сегодня денежный, он же партийный, интерес, что бессменно торчит путевым указателем перед теряющим зрение глазом, чему ставят всюду памятники и чьими звонкими именами прикрывает свою нищенскую наготуобщественное мнение – это всего лишь памятник несостоявшемуся настоящему. Оно не может, это будущее-настоящее, состояться уже потому, что в нем заранее заглушен *твой* голос: «Я!», оно косноязычно и в перспективе немо, и уже сегодня оно заверяет своей хитроумной подписью акт собственного самоубийственного бессилия. Оно кивает, это инвалидное настоящее-будущее, на сладко удушающий его принцип: больше того же самого! Принцип *бессердечного* глобального комфорта, зазывающий в спа-наркоманию   
физического бессмертия и отрицающий твое, перед лицом всего Космоса, одиночество. Разве каждый, рождаясь на Земле, не проделывает все самое главное сам? Один?

Черные, обгорелые стволы тополей.

От новых срубов на улице пахнет сосновыми гробами, и мало кто верит, что не придется потом расплачиваться за это бесплатное новоселье. Лучше не ждать от властей ничего хорошего, но потихоньку копошиться самому, так лет через тыщу-другую и доползешь до «уровня жизни».

Дома все одинаковые, отличишь только по номерам, даже цвет, и тот один, грязно-желтый, нелиняющий, а заборы сплошь синие, заметные издалека. За заборами затоптанные огороды и остатки выгоревших садов, и ставшие бездомными собаки только по верности своей сторожат место, получая за это разве что остатки супа. Борисыч предложил было отстрелять ненужных теперь кабысдохов, но никому нет до этого дела, и он пока медлит, с недавно купленным ружьем. Он пишет, сидя у электрика в зале, свою новую поэму о человеческом, и к тому же всемирном, счастье: «Мы туда уже идем, забиваем в чернозем указатели пути, и не смей один идти!» Жена ядовито цензурит его, Бессмертного, короткую и длинную строку, тем самым мстя ему за счастливо прожитые в браке годы. Исправляет грамматические ошибки, ставит запятые. Ей нравится, что Борисыч за это на нее злится, хотя между ними давно уже действует двустороннее брачное соглашение: весь мусор держать у себя дома. Порой она чувствует себя его, Бессмертного, музой, тайком подправляя, где рифму, где вылезший наружу хвост строки:

Мы бредем от вещи к вещи,

Загребая в руки-клещи

Все добро, какое видим,

Зло же в шутку ненавидим.

Что за пазухой нашарим,

Все себе же и подарим,

Тесто с кровью замешаем,

Усмирим борзых лишаем.

– Пока старая, склеротичная Европа составляет завещание в пользу оболванивших ее Визенталя и Моргенау, пока выжатая, как лимон, Америка прет под командой негра прямо в стену, за которой припрятан несгораемый сейф мирового еврея, мы, здешние интеллигенты, станем в единый корпоративный строй и грянем, глуша в себе последние остатки совести: *вперед к назаду*! При этом надо усердно креститься, иначе люди не поверят в твою благонамеренность. Надо к тому же звать на помощь погоду, но самое главное – ничего собой ровным счетом не представлять, быть *как все*. Быть бараном, овцой, козлом.

– Тут все дело в желании *верить*, *–* посмеивается, слушая Борисыча, электрик. – Козел тем и отличается от барана, а тем более от овцы, что уверенно идет впереди, ведя стадо на бойню, и все трусят за ним, веруя в свое овечье будущее. Всех, разумеется, забивают, кроме козла, и тот ведет на бойню следующих. А ведь стоит только отбиться от стада...

– …и тебя тут же утащит волк! – язвительно вставляет Борисыч. – Волки всегда поблизости! Присмотрись: волчья политика, волчье образование, волчья медицина...

– Зачем обижать зверя, – вставляет Валькина мать, прислушиваясь к разговору, – у волка все честно и по закону, по-волчьему, это люди своему закону изменяют: хотят непременно быть скотами.

– Достаточно посмотреть волку в глаза, – поддакивает ей электрик, –   
достаточно его *узнать*. Ручные волки – что собаки... Но раз уж тебе охота, Борисыч, сравнивать наше дружное междоусобие с волчьим порядком, то давай назовем «волком» деньги: их всевластие неправомерно. В жизни должно оставаться что-то, чему невозможно назначить цену, что по самой своей сути не продается и не покупается, и это, Борис Борисыч Бессмертный, и есть твоя бессмертная часть, переходящая от одной жизни к другой, твой дух... и стало быть, надо говорить о *твоей* духовности, о твоем труде над собой, никем не оплачиваемом труде... Кстати, почему ты Бессмертный?

– Закрыли тему, – сухо рыкает на него Борисыч, – человек был, есть и будет зверем, разумной скотиной, взять хотя бы того же батюшку: ну какой он, между нами, божий человек? Весь в спонсорах, в деньгах, в «мерседесах». Покажи мне хотя бы *одного* бедного попа! Хотя бы одного, кушающего в пустыне саранчу!

– Ни одного, – соглашается электрик, – и это значит, что нет больше никакой церкви, а то, что продолжает ею казаться, всего лишь досадный мираж. Либо ты *знаешь,* что Христос есть в тебе, либо проваливай ко всем чертям со своей *верой*. И это твое, суверенное, индивидуальное, свободное знание не удержать в душе ничем, кроме как ее же, души, мыслительной силой, тогда как твои мозговые извилины только зеркально отражают мертвые уже, выхваченные из Логоса мысли, и к тому это чаще всего кривое зеркало. Мозговые, рассудочные истины не являются, собственно, истиной...

– Ты хочешь сказать, что мой мозг не мыслит? – с обидой перебивает его Борисыч. – Что мои, значит, нервные клетки, треща от напряжения и не восстанавливаясь, работают впустую? Разве может быть мышление безмозглым?

– Мыслит не мозг, – упрямо стоит на своем электрик, – мыслит невидимая часть человека... Собственно, мыслит то, что связывает человека с Христом, и неважно, кем человек считает себя, православным или мусульманином: Христос есть объективная, одна на всех, космическая сила Логоса.

– Наряду с Христом были ведь и другие... – не желая уступать электрику, запальчиво возражает Борисыч, – …пророки!

– Никто не стоит с Ним в одном ряду, никто Ему не ровня.

Нервно передернув плечами, словно ему капнули за шиворот холодной воды, Борисыч неразборчиво бормочет что-то, и электрик, видя это отступление, не скрывает уже больше своей придирчивой ярости:

– Сегодня никто ничем не рискует, крича о нравах Лукоморья, и из этих криков складывается поразительная в своей убедительности картина: везде одно и то же. Правитель – мошенник и вор, поп – подхалим и блюдолиз, ученый – прохвост. Короче, приехали, дальше хода нет. Но дело-то как раз в том, чтобы *найти* этот ход. И тут те, кто кричит о «язвах России», немедленно объединяются *против* ищущего, и именно потому, что он рано или поздно *находит* жизнь, истину и путь...

– Ничего никто не находит, потому что ничего другого, кроме того, что уже есть, и быть не может! – зычно, в расчете на то, что медсестра тоже его услышит, объявляет Борисыч. – Что можно найти на мусорной свалке?

– А там и не надо искать, – спокойно парирует электрик, – надо искать там, где чисто. Там, где вещи и мнения окружающих перестают командовать тобой, где ты доверяешь самому себе...

– Я предпочитаю говорить о *реальных* вещах, – нетерпеливо перебивает его Борисыч, – ты же болтаешь о каких-то фантазиях... Реальность – она одна, она *окружает* нас.

– И в центре этого окружения, – усмехается электрик, – находишься ты сам, но себя-то ты и не замечаешь! Ты не желаешь считаться с собой! Ты говоришь вместо этого «мы», и в *этом* причина замусоривания жизни. Ты кричишь: «Смотрите, там вонючее болото, там дохлая рыба!» Но сам-то ты не спасешь эту бедную рыбу, нет, не пересадишь ее в чистую заводь своих мыслей о ней. Ты накапливаешь *опыт разгребания грязи*, и только. Или, что то же самое: опыт копания в мертвечине. Кстати, нас окружает не одна только вещественная реальность...

– Твое дело, – с холодным достоинством осаживает его Борисыч, – чинить электропроводку, а не рассуждать о высоких материях.

– Вот-вот, – снова усмехается электрик, – это как раз точка зрения *мертвого*. Ты любишь, Бессмертный, смерть!

Валькина мать заваривает чай из липы, мяты и зверобоя, вынимает из духовки натертые мукой пышки. Жизнь делается все холоднее и холоднее, все меньше и меньше в ней сострадания, а понимание сути вещей, так почти уже на нуле: скоро, совсем уже скоро единственной сутью вещей станет их денежная стоимость. Помочь другому – за деньги, утешить и дать совет – за деньги, любить другого – будьте добры, оплатите вперед наличными. Так строится стопроцентно аморальное сообщество, в котором каждый, хоть и мертв, но, увы, счастлив. На этом кладбище человеческих интересов, под звездами и карикатурно величественными бюстами, слагается уже сегодня *песнь конца*: биологическая природа человека суть последняя его природа. На этом кончается, собственно, эволюция, дальше – феерический ад *нано.* И тот, у кого уже сегодня достаточно цепкий прищур, тот зябко вбирает в плечи свои склеротизированные извилины, присматриваясь к грядущему Большому Склерозу, и хочется ему, *бедному*, припасть и приникнуть к дышащему где-то рядом морю... но вокруг только пустыня.

У медсестры есть своя в жизни тайна: в своей внутренней, скрытой от глаз и рук тишине, она становится *сестрой* многим другим, сестрой милосердия. В походной бессонности ночей и склочной придирчивости будней «скорой», она изнашивает свое тридцатишестилетнее тело, не плача при виде смерти и не отводя глаз, провожая покидающую мир душу к порогу, за которым начинается неизвестное. Кто-то ведь проводит потом и ее... Валька? Он не знает пока, и никто пока в мире не знает, что в ее теле угнездилась новая жизнь. И сама она пока только ждет, когда знаки этой новой жизни станут явными, и никакие проверки и пробы не коснутся едва лишь привязавшееся к материи существо. Она родит дома, в постели, а может, на полу, в полном сознании великого таинства *приземления* космического.

Дом Борисыча сдали на улице первым, положив на крышу блестящую черную черепицу и замостив перед крыльцом площадку серой тротуарной плиткой. Ему пришлось много раз ездить в город и доказывать, с бумагами в руках, что именно он, Борис Борисыч Бессмертный, нуждается, как *поэт,* в крыше над головой больше всех остальных. Он тряс перед носом чиновников коллективными поэтическими сборниками, альманахами и газетными полосами, цитировал наизусть рецензии и отзывы, грозя стать еще более маститым и известным, пока наконец кто-то, не выдержав этой профессиональной психической атаки, не распорядился, «ввиду особых обстоятельств», вселить Борисыча вне очереди. И теперь он с нетерпением ждет подъемные от союза писателей и пока никуда от электрика не съезжает, немало тем самым экономя. Он думает продать только что отстроенный дом и, приплюсовав к выручке деньги от недавно проданной городской квартиры, купить охотничий замок, достойный его, Бориса Бессмертного, стиля жизни. Но пока надо поддерживать охотничью форму.

В середине октября ощенилась Сотовая связь: восемь толстых щенят копошатся в картонной коробке, лают во сне и пробуют рычать, и Валькина мать подкармливает их молочной овсянкой. Что делать с ними, пока не ясно, и щенки, опережая намерения людей, быстро растут. И вот наконец Борисыч забирает весь помет, забирает к тому же Сотовую связь, переправляет всех в свой новый дом, и в зале у электрика становится сразу пусто и скучно, только Беня полаивает иногда на забредшую в дом курицу, и старый бородатый скотч нехотя и только по службе отвечает ему басовитым ворчанием. Под вечер Валька решает пойти посмотреть, как там теперь с «его» щенками, и уже возле новой, с новым почтовым ящиком, калитки его настораживает необычно визгливое, с переходом на вой тявканье, и хотя калитка заперта изнутри, он тут же перемахивает через ощетинившийся острыми верхушками дощатый забор. Подставив к стене ведро, он заглядывает в окно: желтый, под паркет, линолеум, пустая пока еще стенка, телевизор. Переставив ведро под другое окно, он смотрит, опершись локтями на подоконник, и ему кажется, что он рухнет сейчас на сложенные штабелем доски: стоя возле неоштукатуренной еще стены, в домашних спортивных штанах и майке навыпуск, Борисыч бьет с размаху об стену щенка... бьет до тех пор, пока тот перестает наконец визжать. В углу, привязанная к вбитому в стену крюку, воет при каждом щенячьем визге Сотовая связь, остальные щенки сидят в картонной коробке. Не смея шевельнуть даже пальцем, Валька смотрит, не мигая, как Борисыч хватает щенка за загривок, закуривает, вдавливает горящую сигарету в щенячий глаз...

Валька не помнит, как соскочил с перевернутого ведра и перемахнул через забор обратно, очнувшись уже на своем огороде, споткнувшись об оставленную на меже тыкву. Некоторое время он смотрит на эту так и не дозревшую, не удавшуюся зелень, потом вдруг, ни о чем больше не размышляя, рвет ее вместе с подгнившим стеблем и бежит по огороду обратно.

Он не бежит, нет, несется, чуя у себя за спиной огромные крылья, огненные взмахи которых рубят, словно раскаленный меч, пахнущий морозом осенний воздух. Он думает вовсе не о Борисыче, отсекающем хлебным ножом щенячью лапу, но о том, что живой, все еще пахнущий молоком визжащий клубок *действительно переживает* этот ужас: этот свершившийся факт ничем уже не исправить. Так много остается в жизни неисправленным! Разбив тыквой стекло в новой широкой раме, Валька прыгает с подоконника на пол.

– Ты! – кричит он незнакомым ему самому мужским голосом. – Остановись!.. прекрати!..

Борисыч с изумлением оборачивается, и на его бледном, изможденном похотью, стареющем лице проступает такое устрашающее сладострастие, что Валька в первый момент отступает, и только шелест огненный крыл за спиной возвращает ему уверенность, и его пальцы вцепляются в одеревенело твердый стебель с прочно сидящей на нем тыквой. Отшвырнув полумертвого щенка к стене, Борисыч еле слышно, одними только вытянувшимися в нитку губами, приказывает:

– На колени, щенок! Ну!! На колени!!!

Жар огненных, за спиной, крыльев. Наклонившись и увернувшись от расставленных рук, Валька бьет головой в пах, где только что стояло торчком доказательство взрослой мужественности, и Борисыч, согнувшись от неожиданной боли, роняет сигарету, и Валька с размаху лупит его по макушке тыквой... Недозрелая, но крепкая.

Еще не зная, что делать дальше, Валька стоит над грузно осевшим на пол телом, и только истеричный визг Сотовой связи приводит его в себя: сняв с нее строгий, с шипами, ошейник, он застегивает его на шее Борисыча, оставив конец поводка на вбитом в стену крюке. Потом собирает в коробку щенят, мертвых, и тех, кто, в блевотине и нечистотах, трясется от страха, дожидаясь пыток, ставит коробку на подоконник, вылезает наружу, и Сотовая связь выпрыгивает следом за ним. Только теперь, в начинающих уже густеть осенних сумерках, Валька замечает, как дрожат его руки, колени, плечи, подбородок, каким холодом отзывается у него под ребрами мысль о внезапной над Борисычем расправе. Проклятая тыква так и осталась лежать там, на полу, закатившись под стул, на спинке которого висит пятнистая охотничья куртка.

Он думает о нависшем над ним наказании: мать не купит, как обещала, новый велосипед?.. отец двинет в морду?.. учительница переведет на продленку, с обязательной зубрежкой и писаниной?.. Но ни одно из этих наказаний не идет в сравнение со справедливостью его огненной ярости, в которой, и он знает это наверняка, горячо дышит *его* правда, не проштемпелеванная ничьими распоряжениями или оценками. И Валька думает, что лучше уж в этой своей правде ошибиться, чем принять на веру чужую правду.

За забором он видит Катьку, она копает свой огород, намереваясь весной засадить его чесноком, сельдереем, укропом, петрушкой, щавелем, салатом, луком, редиской, морковью, огурцами... да она тут всего понасадит! Но главное, все это она сама же и будет потом жрать, ничего не потащит на рынок: она теперь... как это... вегетарианка. Остановившись возле забора, Валька молча на нее смотрит, и копошащиеся в картонной коробке щенки пронзительно, с переходом на тонкий вой, попискивают, словно торопя его поскорее добраться до дома, и Сотовая связь жмется к его ноге, возвращая его телу ослабевшую было дрожь.

– Я только что его убил...

Бросив лопату, Катька с испугом на него пялится: лицо в размазанных грязных разводах, руки в крови... Он умеет, этот поросенок, драться, он ведь и ей расшиб недавно нос... А если бы тогда не расшиб?.. если бы пошел с ней в кусты?.. Нет, правильно он ей тогда двинул. И, облегченно вздохнув, Катька спокойно уже интересуется:

– Этот... он не предлагал тебе денег?

– Он предлагал мне стать на колени.

– Вот ведь извращенец.

Катька снова берет лопату, чего зря по пустякам болтать. Все перещупанные ею мужики стоят теперь в длинном, аж края не видно, ряду, с этим самым наперевес, и нет среди них ни одного, кто хотел бы перестать быть скотом и зверем: это ли люди? За них всех вместе взятых Катька не даст теперь и гнилого кочана прошлогодней капусты!

– И правильно сделал, – добавляет она, с размаху всаживая в чернозем острую на конце лопату. – Так их, разэтак!

Не успел Валька закопать на лугу, под дикой грушей, мертвых щенков, как явился Борисыч, и прямо к отцу. В шею его врезаются острые шипы строгого ошейника, посреди лба синеет огромная шишка. Но главное, на его пожелтевшем, осунувшемся лице нет больше прежней значительности, только неуверенность и испуг. Электрик сразу это заметил и приготовился к самому худшему: к насильственно-вынужденному сочувствию. Это ведь так среди людей распространено: изливать на другого, ни в чем перед тобой не виновного, потоки своей блевотины и экскрементов. Этот террор, эта неуемная жадность до чужой искренности, мало чем отличается от наглого, средь бела дня, воровства: отколупни-ка от своей души, да побольше, кусок! Тот, кому невыносим вид самого себя, кто умирает от страха перед разоблачением, догадываясь о ничтожности своих намерений, тот ничего так не желает, как спасения... пусть даже весь мир при этом утонет в клоаке. Маленькое, требовательное, эгоистичное спасение! Оно не прощает оказанной милости, не вынося над собою превосходства. Спасен... чтобы отомстить.

– Плати, или я заявляю в милицию, – прямо с порога выкладывает Борисыч, – заявляю, кстати, на тебя! Ты же отец этому отморозку! Разбил окно, поубивал всех собак, меня чуть было не укокошил, мерзавец! Три тыщи долларов!

– Чего-о-о-о? – кричит с кухни Валькина мать, – Да у нас таких денег сроду не было! Чего это там Валька такого натворил?

– Спас остальных щенков... – негромко, чуть усмехаясь, отвечает электрик и смотрит на Борисыча в упор, прижимая его взглядом к стене. – Всего-то дал тебе по башке тыквой, та даже и не раскололась. Это на тебя надо заявлять, но только не в милицию, она с тобой заодно... и если есть еще где-то закон и справедливость, то только в душе, в том числе и в твоей, Бессмертный, душе!

– Рассказывай это своей бабе в постели, а мне за своего пасынка заплатишь!

– Ошейник-то, – усмехается в ответ электрик, – впору пришелся.

Хлопнув дверью, Борисыч топчется на крыльце, словно забыв что-то, и электрик выходит к нему, предлагает, как ни в чем не бывало, закурить. Его насмешливое спокойствие бесит Борисыча куда больше синеющей на лбу шишки, и он напрягает теперь все свое интеллигентное поэтическое воображение, чтобы хоть как-то превозмочь этот, увы, факт: электрик, это не только упакованное в кожаную куртку и резиновые сапоги тридцатисемилетнее тело. Тело можно раздолбать об стену, изжечь сигаретой, утопить на худой конец в болоте. Но... остальное? То, что встает теперь неодолимой преградой, что не желает родниться с полувывернутой наизнанку полуправдой? Все питаются этой полуправдой, желая того или не желая, и многие ею сыты. Так почему же *один* предпочитает оставаться голодным? С *одним* всегда в жизни морока: не уломаешь его, не приручишь. Один – это всегда вызов остальным. Можно, конечно, извести поодиночке всех, какие только встречаются, одиночек: хотя бы просто никуда их не пускать, не давать ходу к должностям и приличным зарплатам, да просто плюнуть на них и не обращать никакого внимания. А без внимания растет разве что крапива. Вот ведь и история, тысячи вздувшихся от фактов томов, говорит то же самое: роль личности равна нулю, если к ней не приписаны нули масс. Так задавим же массовыми нулями живучую гадину!

К дому медленно, с опаской, подходит Валька. В руках у него пустая коробка и лопата, лицо по-прежнему неумыто, руки в засохшей крови. Замирая на каждом шагу, он внутренне просит кого-то, кто незримо всегда ему помогает, помочь и на этот раз... помочь дойти до крыльца, подняться вверх по ступеням. Валька ищет на расстоянии взгляд отца и, вмиг поймав его, понимает: иди! Это ведь его дом, его крыльцо, его к тому же намерение *подняться*... и он, ускоряя шаг, думает: «Вот сейчас *я* подниму себя...» Он держит курс прямо на Борисыча, и тот, не понимая еще, в чем дело, жмется спиной к перилам... Но нет, Валька только проходит мимо.

Он идет в свою комнатушку, садится на край постели, зовет из-под стула Сотовую связь... она теперь никакая не Сотка, но Чара.

– Чара, – говорит он, беря ее в охапку, – он тебя больше не заберет, ты дома. А щенков раздам в школе ребятам, и не кому попало. Знаешь, откуда происходит зло?

Собака слушает, торопливо дыша и высунув, как после долгого бега, язык, и в ее темно-карих глазах просительно стоит вопрос: «Правда, не отдашь?» Щенки слабо попискивают, сбившись во сне в тепло дышащую кучу, теперь их только трое. И Валька доверительно шепчет, отвернув лохматое собачье ухо:

– Зло само по себе, как, например, соль или сахар, нигде не существует. Это всего лишь *направление* движения, вверх или вниз, и каждый выбирает направление сам. Бабушка говорит, что человек должен в конце концов стать ангелом, поэтому надо смотреть вверх... выше своей головы... и тогда, говорит бабушка, ангел наденет тебе на голову сверкающую корону. Борисыч же никогда в это не поверит: он видит только мясо, кровь и шкуру. И он не знает, Чара, что у тебя есть *собачья душа*! И хотя эта душа одна на всю стаю, на весь собачий род, все же и она, как сказала мне бабушка, стоит *высоко*... выше самого высокого в деревне тополя. По-моему... – тут Валька переходит на такой тихий шепот, что Чара перестает на миг дышать и прячет язык обратно, – …не мои руки-ноги, голова и все остальное имеют при себе еще и какую-то душу, но это *Я сам*, который был всегда, получаю в свое распоряжение, на время жизни, это тело... – и добавляет уже громко: – Моему телу всего пока десять лет, а *сам Я*, как говорит бабушка, имею возраст Земли... Тебе это не интересно?

Чара снова принимается торопливо дышать, с языка капает на покрывало слюна. Все это, разумеется, ей известно: у нее с Валькой общая история. И прежде чем произойти от волка и шакала, ей пришлось произойти... от человека.

Пахнет морозом. У самого горизонта небо силится выдавить из своей бесцветности тонкую зеленоватую полоску, и ее уже теснит со стороны выгоревших посадок серо-голубой предвечерний сумрак, обещающий тихую звездную ночь и утренний на траве иней. Солнце стоит над пожелтевшим жнивьем так низко, что, кажется, вот-вот спалит ненужные уже никому остатки стеблей и растрепанных пшеничных колосьев, и ветру нет дела до распахнутой в небо пустоты ожидания. Скоро зима, скоро подберется к спящему, выбрав для этого самую темную и долгую ночь, долгожданный вопрос: «Но ты-то сам?»

По жнивью несется пущенная галопом рыжая Наташкина лошадь: пламя хвоста и гривы сливается в одном порыве с растрепавшейся на ветру косой, и кажется, что это не два, но одно существо, вожделеющее к тонущему уже за горизонтом солнцу. Валька стоит и долго смотрит: так, должно быть, судьба рисует свои незабываемые картины. Сейчас, в этот предвечерний осенний миг. И пока еще солнце тут, со всем своим медовым, золотым, рыжим великолепием заката, надо успеть до него добраться... успеть! Он бежит лошади навстречу, обжигаясь кусачими оплеухами ветра, и Наташка что-то кричит ему... Она одета уже по-зимнему, в короткой, с меховыми отворотами, дубленке и высоких, по колено, сапогах, сзади плещется флагом оранжевый шарф, и Валька все это запоминает, чтобы когда-нибудь, жизнь ведь не так коротка, вернуться в этот осенний закат.

– Я нашла этот лошадиный бальзам от ревматизма, – кричит ему Наташка, – и еще шампунь! Для хвоста и для гривы, корове тоже подойдет!

Ветер жжет Вальке лицо, по щекам катятся слезы, и он торопливо вытирает их рукавом вельветовой куртки. Лошадь подходит к нему вплотную, фыркает, обдавая лицо паром, терпеливо и умно смотрит: чего стоишь? И сказать ему на это нечего, разве что развести вот так руками: я тут один, в поле... Один в свои десять уже с половиной лет. И чтобы Наташка сразу так не уносилась прочь, он мерзло, глядя на нее снизу вверх, выдыхает:

– Нет больше Белочки...

Наклонившись к лошадиной шее, Наташка долго на него смотрит. Потом, словно приняв какое-то решение, кивает ему:

– Поехали!

Он тут же, словно только того и ждал, хватается рукой за седло и легко вспрыгивает на спину лошади, и та пускается вскачь, и растрепанная на ветру коса закрывает его лицо рыжим, пахнущим морозом пламенем. Солнце расплавляет на горизонте бледно-зеленую полосу, обдавая замерзающее поле последним своим, перед наступлением темноты, золотом: золотое, оранжевое, золотое...

*10 сентября – 22 декабря 2011*

*Rygge*